

The background of the book cover is a painting of a church with a tall, slender spire, viewed through the dark, leafy branches of trees. The sky is filled with soft, white and grey clouds. The overall tone is somewhat somber and atmospheric.

УИЛЬЯМ
ГОЛДРИНГ

Шмилъ

АЛТЕНКА-ВЕТАСОЧКА

Annotation

Роман «Шпиль» Уильяма Голдинга является, по мнению многих критиков, кульминацией его творчества как с точки зрения идейного содержания, так и художественного творчества. В этом романе, действие которого происходит в английском городе XIV века, реальность и миф переплетаются еще сильнее, чем в «Повелителе мух». В «Шпиле» Голдинг, лауреат Нобелевской премии, еще при жизни признанный классикой английской литературы, вновь обращается к сущности человеческой природы и проблеме зла.

- [Уильям Голдинг](#)
 - [ГЛАВА ПЕРВАЯ](#)
 - [ГЛАВА ВТОРАЯ](#)
 - [ГЛАВА ТРЕТЬЯ](#)
 - [ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ПЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ШЕСТАЯ](#)
 - [ГЛАВА СЕДЬМАЯ](#)
 - [ГЛАВА ВОСЬМАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДЕВЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДЕСЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
-

Уильям Голдинг Шпиль

Посвящается Джуди

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Он смеялся, вздернув подбородок и покачивая головой. Бог-Отец озарял его сиянием славы, и солнечные лучи устремлялись сквозь витраж вслед его движениям, животворя осиянные лики Авраама, Исаака и снова Бога-Отца. От смеха у него выступили слезы, и перед глазами множились радужные круги, спицы, арки.

Вздернув подбородок и сощурясь, он крепко, в обеих руках, держал перед собой макет шпиля — о радость...

— Полжизни ждал я этого дня!

Перед ним, по другую сторону столика с макетом собора, стоял канцелярий, его бледное старческое лицо было в тени.

— Не знаю, что вам сказать, милорд настоятель, право, не знаю.

Он не сводил глаз со шпиля, который Джослин так крепко держал в обеих руках. Голос его, тонкий, словно писк летучей мыши, терялся в просторной, высокой зале капитула.

— Ведь если представить себе, что эта деревянная поделка... сколько в ней длины?

— Восемнадцать дюймов, милорд канцелярий.

— Восемнадцать дюймов. Да. Именно. А в действительности, сколько мне известно, это будет сооружение из дерева, камня и металла...

— В четыреста футов высотой.

Канцелярий, прижимая руки к груди, вышел на солнце и огляделся вокруг, словно искал чего-то. Потом он взглянул на потолок. Джослин смотрел на него, повернув голову, исполненный любви.

— Я знаю. Фундамент. Но будем уповать на бога.

Канцелярий наконец нашел то, чего искал, — он вспомнил:

— Ах, да...

И старчески хлопотливо зашаркал по каменному полу к двери. Он вышел, а в воздухе осталась весть:

— Ну конечно. Утренняя.

Не двигаясь с места, Джослин послал ему вслед стрелу своей любви. «Здесь мой дом, мой кров, моя семья. Вот сейчас он выйдет из ризницы последним и повернет налево, как всегда; а потом спохватится и повернет направо, к капелле Пресвятой девы!» Джослин снова засмеялся и вздернул подбородок в блаженном ликовании. «Я знаю их всех, знаю, что они делают сейчас, и что уже сделали, и что будут делать. За все эти годы, пока

я шел своим путем, собор стал моей плотью».

Он оборвал смех и вытер глаза. Потом снова взял белый шпиль и неизбежно утвердил его в квадратном отверстии, прорезанном в старом макете собора.

— Вот так.

Макет был подобен человеку, лежащему на спине. Неф — его сомкнутые ноги, трансепты по обе стороны — раскинутые руки, хор — туловище, а капелла Пресвятой девы, где отныне будут совершаться богослужения, — голова.^[1] И вот теперь вознесся, устремился, воздвигся, извергся из самого сердца храма его венец и величие — новый шпиль. «Они не знают, — подумал он, — не могут знать, пока я не поведаю им о своем видении!» Он снова засмеялся от радости и вышел из залы капитула на широкий, залитый солнцем двор, очерченный аркадами. «Но я должен помнить, что шпиль — это не все! Я должен, сколько достанет сил, продолжать каждодневные свои труды».

Он обошел аркады, раздвигая занавеси, и остановился у боковой двери. Медленно, бесшумно откинул щеколду. Входя, он склонил голову и сказал, как всегда, в сердце своем: «Поднимите, врата, верхи ваши!» Но, войдя, он сразу понял, что его предосторожность была излишней, потому что в соборе уже стоял нестройный шум. Утреню служили в отдалении, звуки были такие крошечные, ничтожные, что казалось, их можно собрать в горсть, и тем не менее они доносились сюда через весь собор, из капеллы Пресвятой девы, сквозь дощатую стенку, обитую холстом. Другие звуки, более близкие, хотя они, отдаваясь эхом, и слились в сплошной гул, говорили о том, что здесь люди долбят землю и камень. Эти люди переговаривались, распоряжались, покрикивали, волокли по каменному полу бревна, катили и роняли тяжести, небрежно швыряли их, дотаскивая до места, и все это породило бы крикливую разноголосицу, как на ярмарке, если бы эхо не подхватывало звуки снова и снова, заставляя их кружить по собору, настигать самих себя и тонкоголосое пение хора и звучать бесконечно, на одной ноте. Все это было так непривычно, что он поспешно прошел в главный неф и преклонил колени пред невидимым отсюда престолом; потом поднялся с колен и стал смотреть.

Мгновение он моргал. Такого яркого солнца ему еще не доводилось здесь видеть. Всего осязаемей в нефѐ была не дощатая, обитая холстом стенка, которая делила собор надвое, не два ряда арок, не часовни и не расписные надгробия меж ними. Осязаемей всего был свет. Он врывался в южные окна, высекая из стекол каскады цветных искр, и устремлял свои лучи правильным строем справа налево, к основанию опор по другую

сторону нефа. И повсюду пыль придавала ветвям и стволам света подлинную объемность. Он снова моргнул и увидел, как совсем рядом пылинки то кружатся одна вокруг другой, то разом взмывают вверх, как мотыльки под дыханием ветра. Он видел, как в отдалении они плавали облаками, завивались спиралью или на миг повисали недвижно, и тогда самые дальние ветки и стволы становились цветом, только цветом — медовой желтизною, исполосовавшей тело собора. Там, где окна южного трансепта освещали средокрестие^[2] с высоты ста пятидесяти футов, мед сгущался в колонну, и она высилась, прямая, как Авелев столп^[3], над людьми, которые ломали и выворачивали каменные плиты пола.

Он покачал головой в печальном изумлении перед осязаемым солнечным светом. «Если б не этот Авелев столп, — подумал он, — я принял бы косую стену света за настоящую и решил бы, что мой каменный корабль сел на мель и накренился». И его губы дрогнули в улыбке: подумать только, человеческий ум повсюду открывает законы и вместе с тем обманывается легко, как младенец. «Теперь, когда на боковых алтарях не горят свечи, если стоять лицом к дощатой перегородке в дальнем конце нефа, может показаться, что это языческий храм, а вон те двое с ломами, что работают посредине, в солнечной пыли (когда они выворачивают каменную плиту и бросают ее, раздается грохот, как в каменоломне, и будит эхо), — жрецы, свершающие какой-то неведомый обряд... Господи, прости.

Вот уже полтора года мы непрестанно ткем в этих стенах великолепный узор хвалы Господу. Все останется, как было, только узор будет еще богаче, великолепнее, обретет наконец совершенство. А сейчас я встану на молитву».

Но он понимал, что еще повременит с молитвой, даже в сей день радости. Он громко смеялся от радости и знал, почему повременит, — знал всегдашний устав дня, знал, кто сейчас на охоте, кто произносит проповедь, кто кого замещает, знал, как надежен каменный корабль и его команда.

И словно эта мысль возвестила о начале короткой интермедии, он услышал, как стукнула щеколда и боковая дверь со скрипом отворилась. «Сейчас, как и всякий день, я увижу свою дочь во Христе».

И в самом деле, едва он вспомнил о ней, она быстро вошла, словно спеша на его зов, а он уже ждал, готовясь благословить ее, как благословлял всегда. Но жена Пэнголла, заслонясь ладонью от пыли, свернула налево. На миг мелькнуло ее узкое нежное лицо, и она, вместо того чтобы пересечь собор, пошла по северному нефу; ему оставалось

лишь мысленно послать благословение ей вслед. Он провожал ее взглядом, слегка разочарованным и полным любви, а она, проходя мимо темных алтарей, откинула капюшон, под которым был белый платок, и из-под серого плаща на миг мелькнуло зеленое платье. «Вот женщина до мозга костей, — подумал он, исполненный любви к ней. — Отсюда ее безрассудное детское любопытство. Впрочем, это забота Пэнголлы или отца Ансельма». И он увидел, как она, словно осознав свое безрассудство, быстро обошла яму, прикрываясь рукой от пыли, пересекла неф и захлопнула за собой дверь Пэнголлова царства. Он рассудительно кивнул.

— Пожалуй, кое-что у нас теперь все-таки переменится.

Когда дверь захлопнулась, стало почти тихо; а потом в тишине раздались новые негромкие звуки: «тук, тук, тук». Он повернул голову влево — там, на цоколе колонны, сидел немой в кожаном фартуке, зажав большой камень между коленями.

«Тук, тук, тук».

— А знаешь, Гилберт, он, кажется, велел тебе ваять с меня, потому что я подолгу стою на месте!

Немой поспешно вскочил. Джослин улыбнулся ему.

— Можно подумать, что от меня здесь меньше всех проку, как потвоему?

Немой улыбнулся преданной, собачьей улыбкой и замычал пустым ртом. Джослин радостно засмеялся в ответ и кивнул, словно их связывала какая-то тайна.

— Спроси эти четыре опоры на средокрестии, есть ли от них прок!

Немой засмеялся и кивнул.

— Скоро я встану на молитву. Можешь пойти со мной, будешь сидеть смирно и работать. Но захвати подстилку, чтобы не насорить, а то Пэнголл выметет тебя из капеллы Пресвятой девы, как сухой листок. Не надо сердить Пэнголлу.

Тут раздался новый шум. Джослин сразу забыл про немого, повернул голову, прислушался. «Нет, — сказал он себе, — не может быть, им не успеть так быстро!» И он поспешил в южный неф, откуда можно было через средокрестие заглянуть в северный трансепт. Возле часовни Пиверела он остановился. И прошептал, исполненный радости, которая была слишком глубока, чтобы выносить ее из храма:

— Нет, это правда. После стольких лет неустанных трудов. Слава Господу.

Ибо совершалось невероятное. «Ведь я проходил здесь столько лет изо дня в день, — подумал он. — И всегда то, что снаружи, было отделено от

того, что внутри, так же четко, так же вечно и непреложно, как вчерашний день от сегодняшнего. Внутри — гладкий, расписной камень, снаружи — грубые, обросшие лишайником стены. Вчера, да нет, сегодня, только что между ними была неодолимая преграда. А теперь там сквозит воздух. Разобщенные части соприкоснулись, и я, как в замочную скважину, вижу угол дома канцелярия, где, быть может, сейчас ждет Айво.

Мужайся. Слава Господу. Это начало свершения. Одно дело велеть вырыть яму меж опорами, словно могилу для какого-нибудь именитого горожанина. А это совсем иное. Теперь я поднял руку на самое тело своего храма. Как хирург, я поднес нож к животу, бесчувственному от макового отвара...»

Он пытался представить себе это, и негромкие звуки утрени казались ему слабым дыханием бесчувственного тела, распростертого на спине.

По другую сторону часовни раздались молодые голоса.

— Что ни говори, он обуян гордыней!

— И погрязает в невежестве.

— Знаешь, он возомнил себя святым! Это он-то — святой!

Но, увидев в полумраке настоятеля, оба дьякона упали на колени.

Он смотрел на них сверху вниз и любил их в своей радости.

— Вот как, дети мои! Что же это? Вы злословите? Сплетничаете? Клеветаете?

Потупившись, они молчали.

— Кто же этот несчастный? Вы бы лучше помолились за него. Ну-ка, ну-ка.

Он обеими руками ухватил их за кудрявые волосы и ласково обратил к себе сначала одно бледное лицо, потом другое.

— Попросите канцелярия наложить на вас епитимью. Воспримите епитимью как должное, дети мои, и она даст вам великую радость.

Он отвернулся и хотел пройти дальше по нефу, но ему снова помешали. У временной дверцы, которая была сделана в дощатой перегородке и вела из южной галереи к средокрестию, стоял Пэнголл; он увидел Джослина, отпустил своих помощников и заковылял к нему с метлой на весу, прихрамывая, слегка волоча левую ногу.

— Преподобный отец...

— Мне сейчас некогда, Пэнголл.

— Сделайте милость!

Джослин покачал головой и хотел обойти его, но Пэнголл протянул загрубелую руку, словно в своей дерзости готов был коснуться рясы настоятеля. Джослин остановился и, опустив глаза, быстро проговорил:

— Ну, что тебе? Опять все то же?

— Они...

— До них тебе нет дела. Пойми это раз и навсегда.

Но Пэнголл не отступал, пристально глядя на Джослина из-под копны темных волос. Его бурая одежда была в пыли, пыль покрывала перевязанные крест-накрест икры и стоптанную обувь. Сердитое лицо тоже было в пыли. И голос у него был хриплый от пыли и злости.

— Позавчера они убили человека.

— Я знаю. Но послушай, сын мой...

Пэнголл покачал головой так торжественно и убежденно, что Джослин умолк, потупившись и приоткрыв рот. Пэнголл поставил метлу на пол и оперся на нее. Он обвел взглядом каменные плиты, потом посмотрел настоятелю в лицо.

— Когда-нибудь они убьют и меня.

Теперь они оба молчали, а шум работы не затихал, и ему вторило звонкое эхо. Пылинки плясали между ними в солнечном свете. И Джослин вдруг вспомнил о своей радости. Он положил обе руки на кожаные плечи Пэнголла и крепко сжал их.

— Не убьют. Никто тебя не убьет.

— Ну, так выживут отсюда.

— Никто не причинит тебе вреда. Истинно говорю тебе.

Пэнголл яростно сжал метлу. Он выпрямился. Губы его кривились.

— Преподобный отец, зачем вы это сделали?

Джослин смиренно снял руки с его плеч и сложил их на груди.

— Ты знаешь это не хуже меня, сын мой. Дабы приумножить славу храма сего.

Пэнголл ощерился:

— И для этого надо его разрушить?

— Остановись, пока ты не сказал лишнего.

Но Пэнголл не отступался, и в словах его прозвучал вызов:

— Вы когда-нибудь оставались здесь на ночь, преподобный отец?

Он ответил ласково, как ребенку:

— Много раз. И это ты тоже знаешь не хуже меня, сын мой.

— Когда падает снег и ложится тяжестью на свинцовую крышу, когда листья забивают водостоки...

— Пэнголл!

— Мой прапрадед был среди тех, кто строил этот собор. В жаркие дни он ходил вон там, над сводом, так же, как теперь хожу я. А зачем?

— Успокойся, Пэнголл, успокойся.

— Зачем? Зачем?

— Ну, я слушаю.

— Как-то он увидел, что одно дубовое стропило занялось. По счастью, он прихватил с собой тесло. За водою ему было не поспеть: загорелась бы крыша, и свинец потек бы рекой. Он стал рубить стропило. Вырубил такую дыру, что влез бы ребенок, а угли унес голыми руками, и ладони у него поджарились, как свинина на вертеле. Вы это знали?

— Нет.

— А я знаю. Мы знаем. Все это... — Он ткнул метлой в груды хлама и пыли. — Взломанный пол, яма... позвольте, я сведу вас на крышу.

— У меня есть другие дела, и у тебя тоже.

— Мне надо с вами поговорить...

— Но разве ты не говоришь со мной?

Пэнголл отступил на шаг. Он взглянул на опоры и высокие, сверкающие окна, словно они могли ему что-то подсказать.

— Преподобный отец. На крыше... у самой двери над лестницей в юго-западной башенке лежит наготове тесло, наточенное и смазанное, чтоб не ржавело.

— Это хорошо. Ты предусмотрителен.

Пэнголл взмахнул свободной рукой.

— Пустяки. Для этого мы и существуем. Мы подметали, вытирали пыль, штукатурили стены, тесали камень, иногда резали стекло, и мы молчали...

— Все вы верно служили храму. Я тоже делаю все, что в моих силах.

— Мой отец и дед... И тем более я, потому что я последний.

— Она праведная женщина и верная жена, сын мой. Надейся и уповай на Господа.

— Они играют моей жизнью себе на забаву. Но им и этого мало. Это еще не все... Пойдемте, я вам покажу мой дом.

— Я его видел.

— Нет, вы поглядите, что с ним сделали за эти недели. Пойдемте, пойдемте же. — И Пэнголл, маня его одной рукой, а другой волоча за собой метлу, торопливо захромал в южный трансепт. — Это был наш дом. А что теперь с нами станется? Глядите!

Он указал через низкую дверку на двор, лежавший меж крытыми аркадами и стеной собора. Чтобы выглянуть, Джослину пришлось нагнуть голову, покрытую скуфьей. Он стоял у двери рядом с Пэнголлом и, увидев, что творится во дворе, изумился. Весь двор был завален грудями обтесанных камней. Они громоздились меж контрфорсами до самых окон.

Все свободное от камня пространство было занято бревнами — оставалась лишь узенькая дорожка. Слева от двери, у стены, стоял верстак под тростниковым навесом. Там были сложены стекла и свинцовые пластины, и двое подручных главного мастера работали: «треньк, треньк».

— Видите, отец мой? Я еле пробираюсь к собственной двери!

Джослин боком протиснулся вслед за ним меж кучами.

— Вот все, что они мне оставили. И когда это кончится, отец мой?

Свободное место перед домиком было не более часовни, а у самой его стены растеклись вонючие лужи. Джослин с любопытством посмотрел на домик, потому что никогда еще не бывал подле него так близко. Прежде, обходя храм, он лишь бросал через дверь благосклонный взгляд во двор, и этого было достаточно; что ни говори, а двор и домик, хоть и принадлежали собору, были царством Пэнголла. Каждое утро тень домика ложилась на юго-восточное окно, подобно памятнику, выросшему вопреки воле строителя. А теперь сам домик был перед глазами Джослина, и снова то, что снаружи, соприкасалось с тем, что внутри. Домик прилепился к углу собора, словно выступ под карнизом старинного дома, где бесчисленные поколения ласточек и воробьев оставили свои следы и скелеты гнезд. Он притаился, смиренный и в то же время дерзостный; он был построен здесь без разрешения, и его молчаливо терпели, будто не замечая, потому что семья, которая жила в нем, была незаменима. Он закрывал контрфорс и половину окна. На стены его пошли каменные плиты, такие же серые и древние, как сам собор. В одном месте нелепо торчал надоконный желоб, хотя окна не было. С камнем соседствовали старые брусья, некогда обитые дранкой и оштукатуренные. А кое-где виднелись плоские тисненные кирпичи, гораздо древнее домика, да и собора, попавшие сюда из давно заброшенной гавани, на берег которой вот уже тысячу лет не ступала нога римлянина. Один скат кровли был из настоящего свинца, другой — из аспидных плиток, точно таких же, какими крыта кухня у викариальных певчих. Потом шла полоса тростника, но он стал таким трухлявым, что съежился и пророс травой. Одно окно было нарочно подогнано под квадрат великолепного цветного стекла; другое было узкое, забранное роговыми пластинками вместо стекол. За какие-нибудь полтора столетия это нелепое строение приобрело почтенный и дряхлый облик. Домик весь съежится, как тростник на крыше, его чужеродные части словно бы притерлись друг к друг, обрели вечный покой.

Джослин посмотрел на домик, покосился на кучи камней и бревен, обступивших его со всех сторон, — одна дерзость теснила другую.

— Вижу.

Едва он сказал это, в домике раздалось нежное пение. Гуди вышла из двери, увидела его, оборвала свою песенку, улыбнулась, посмотрела на него искоса и опростала деревянное ведро у стены собора. Она ушла в дом, и оттуда снова слышалось ее пение.

— Так вот, Пэнголл. Сейчас я отвечу тебе. Мы с тобой старые друзья, несмотря на разницу в положении, поэтому давай смотреть на вещи разумно. Они будут строить — тут и говорить не о чем. Скажи мне лучше, что тревожит тебя на самом деле.

Пэнголл поспешно отвернулся и поглядел на мастеровых, которые, насвистывая, резали стекло. Джослин наклонился к нему.

— Ты тревожишься за жену? Они работают слишком близко от нее?

— Нет, не в том дело.

Джослин подумал и понимающе кивнул. Потом продолжал мягко:

— Они смотрят на нее, как мужчины иной раз смотрят на улице вслед женщинам? Отпускают шуточки? Говорят непристойности?

— Нет.

— Так что же?

В лице Пэнголла не было злобы. Только растерянность и мольба.

— Уж если хотите знать, я скажу. Зачем они привязались ко мне? Один я здесь, что ли? Зачем они потешаются надо мной?

— Надо терпеть.

— Каждую минуту... Что бы я ни делал. Хохочут, орут. А стоит мне оглянуться...

— Сын мой, ты слишком обидчив. Надо смириться.

Пэнголл поднял к нему лицо.

— Но до каких же пор?

— Это тяжкое испытание для всех нас. Я знаю. Оно продлится два года.

Пэнголл со стоном закрыл глаза.

— Два года!

Джослин положил руку ему на плечо.

— Подумай сам, сын мой. Камни и бревна постепенно поднимутся вверх. У тебя под носом не вечно будут бить стекло. Возведут шпиль, и наш храм станет еще прекрасней.

— Я не увижу этого, преподобный отец.

— Но почему, скажи мне ради...

Он замолчал, подавляя в себе внезапную досаду, но, когда он взглянул сторожу в глаза, досада столь же внезапно вспыхнула вновь. Он читал мысли Пэнголла так ясно, словно они были написаны у него на лбу:

«Потому что под собором нет фундамента и Джослиново безумство рухнет, прежде чем на верхушке утвердят крест». Он сжал зубы.

— Ты не лучше остальных. И не похож на своего прапрадеда. У тебя нет веры.

Но Пэнголл смотрел в землю. Он приблизился, наступая на тень Джослина. Его грязные, бурые, цвета навоза волосы были на шесть дюймов ниже лица настоятеля и почти касались его рысы. Джослин, охваченный досадой, уловил чуть слышный хриплый шепот:

— Как мне это вынести? Я все время опасаюсь, отовсюду жду подвоха. Мне стыдно перед собственной женой. Все это копится вот здесь, внутри, и с каждым днем, с каждым часом...

Что-то отрывисто стукнуло по башмаку Джослина; он взглянул, увидел влажную звездочку с тонкими лучиками и крошечные капли воды, которые скатывались в грязь по смазанной жиром коже. Он нетерпеливо вздохнул, не зная, что сказать. Но солнце, игравшее на камне, увлекло его взгляд вверх, в пустоту над средокрестием, где каменные зубцы ожидали главного мастера и его подручных. Он вспомнил о рабочих, которые взламывали пол меж опор, и радостное волнение вернулось, заглушая досаду.

— Я же сказал, надо терпеть! А я поговорю с мастером, обещаю тебе.

Он потрепал сторожа по кожаному плечу и быстро ушел, боком протискиваясь меж груд дерева и камня. Мастерские у верстака стояли к нему спиной. Он нырнул в дверку и помедлил немного в трансепте, жмурясь в пыльном сиянии. Он увидел, что каменные плиты уже сложены сбоку, у опор, и оба землекопа стоят по щиколотку ниже пола. Сквозь пролом в стене позади них было видно далеко, и он заметил среди могил, под тростниковым навесом, кучу бревен. Он стоял, сморщив в улыбке нос и вскинув голову, а через неф к нему спешил священник — отец Адам с письмом в руке; Джослин отмахнулся от него.

— Потом, любезный. Сейчас я должен встать на молитву.

Окрыленный своей радостью, он с улыбкой быстро прошел по галерее между хором и ризницей. Служба кончилась, и там не было никого, кроме двух викариальных певчих, которые разговаривали, стоя у внутренней двери. Посреди капеллы Пресвятой девы для него уже поставили скамеечку с пюпитром. Он склонился пред алтарем, потом встал на колени. Слышно было, как где-то совсем рядом немой принялся осторожно постукивать и скрести по камню. Но ему не пришлось отгонять от себя эти негромкие звуки, потому что радость была его молитвою, изливавшейся из самого сердца.

«Что еще могу я сделать в этот величайший из дней, когда мое видение

начало наконец воплощаться в камень, как не вознести благодарение Богу?

А посему, вкупе с ангелами и архангелами...»

Радость, как солнце, озарила его слова. И они вспыхнули.

Его колени безошибочно отмеряли время. Он всегда чувствовал, сколько простоял коленопреклоненный. Сейчас, когда вместо тупой боли наступила онемелость, он знал, что минуло более часа. Он пришел в себя, и, пока огни медленно плыли перед его закрытыми глазами, он почувствовал, как боль снова вливается в его икры, колени, бедра. «Моя молитва никогда еще не была столь простой, поэтому она и длилась так долго».

И вдруг Джослин почувствовал, что он не один. Нет, он никого не увидел и не услышал. Это было лишь ощущение, как ощущают тепло огня за спиной, — сильное и в то же время нежное неведомое присутствие было таким близким, что, казалось, проникло в самый его хребет.

Джослин склонил голову в ужасе, едва дыша. Он не сопротивлялся. Я здесь, словно бы вещал неведомый, не двигайся, мы здесь и пребудем вместе вовеки.

И тогда он осмелился подумать, чувствуя тепло за спиной:

«Это мой ангел-хранитель.

Я творю волю Твою, и Ты послал вестника Твоего, дабы утешить меня. Как некогда в пустыне.

Двумя крылами закрывал он лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал».

Радость, огонь, радость.

«Господи, благодарю Тебя, что Ты дал мне сохранить смирение!» И он снова увидел ряды окон. Житие святого все так же сверкало на них синим, красным и зеленым, но искры и брызги солнца падали теперь по-иному. Он опомнился, глядя на знакомое окно поверх сплетенных пальцев, — ангел покинул его.

«Тук. Тук. Тук».

«Скр-р-р».

«Ты исполнил славою избранных Твоих, подобно солнцу в окне».

Джослин оперся о пюпитр и не без труда разогнул онемевшие ноги. Ковыляя, он сделал несколько шагов и наконец выпрямился. Он оправил на себе рясу, вспомнил про стук и скрежет, повернул голову и увидел немого, который сидел у стены, приоткрыв рот. На полу возле его ног была разостлана ветошь, и он усердно скреб большой камень. Когда тень Джослина упала на него, он вскочил. Это был рослый юноша, он легко

держал тяжелый камень двумя руками, прижимая к животу. Радость, утешение, мир, которые принес ангел, осенили и лицо юноши, как все вокруг; Джослин смотрел на него и чувствовал, как на собственном его лице морщины стягиваются в улыбку. Да, этот юноша тоже был высок ростом; ему не приходилось поднимать голову, чтобы заглянуть действительно в глаза. В радости, дарованной ангелом, Джослин оглядывал юношу, и все улыбался, и был исполнен любви к нему, к его смуглому лицу и шее, к широкой груди, где из-под кожаной куртки выбился кустик черных волос, к кудрявой голове, к черным глазам под черными бровями, к смуглым рукам и пятнам пота под мышками, к обмотанным крест-накрест ногам в грубых башмаках, побелевших от пыли.

— Кажется, сегодня я дал тебе довольно времени!

Немой юноша горячо кивал, и из горла его вырывалось мычание. Джослин все улыбался, глядя в его преданные, собачьи глаза. «Он последует за мной всюду. Если б он был главным мастером! Быть может, когда-нибудь...»

— Покажи-ка, сын мой.

Юноша перехватил камень снизу и, повернув его боком, поднял к груди. Джослин вскинул голову и засмеялся.

— Ну нет, нет! У меня не такой длинный нос! Даже вполтину не такой длинный.

Он взглянул снова и замолчал. Нос как орлиный клюв. Рот широко раскрыт, щеки морщинистые, под скулами глубокие впадины, глаза ввалились; он коснулся угла своего рта, провел пальцами по смеженным складкам плоти. Потом трижды открыл рот, чувствуя, как губы растягиваются, и трижды закрыл его, щелкая зубами.

— Нет, нет, сын мой. И волосы у меня не такие густые!

Немой вытянул свободную руку, быстро согнул ее и повел ладонью в воздухе, подражая полету ласточки.

— Птица? Какая птица? Может быть, орел? Или Святой Дух?

Рука повторила движение.

— А, понимаю! Ты хочешь передать ощущение полета!

Лицо немого расплылось в улыбке, он едва не уронил камень, но вовремя подхватил его, и над этим камнем слились воедино их души, подобно единению с ангелом, радость...

Теперь оба молча смотрели на камень.

Беспредельная скорость полета ангелов, запечатленная в неподвижности, волосы разметаны, реют, подхваченные веянием духа, рот раскрыт, но не дождевая вода изольется из него, а осанна и аллилуйя.

Джослин вдруг поднял голову и улыбнулся с сожалением.

— А ты не мог бы воплотить мое смирение, изваять ангела?

Мычание, покачивание головы, собачьи, преданные глаза.

— Значит, вот каким я, обращенный в камень, вознесусь на высоту двухсот футов, с четырех сторон башни, и пребуду там с раскрытым ртом, вещающим денно и нощно, вплоть до Судного дня? Поверни-ка лицо ко мне.

Немой повернул камень и послушно держал его перед Джослином. Они долго стояли молча, не шевелясь, и Джослин разглядывал острые, торчащие скулы, раскрытый рот, раздутые ноздри, которые, словно два крыла, рвались унести в вышину длинный нос и широко отверстые, слепые глаза.

«Воистину так. В миг видения телесные очи слепы».

— Откуда ты знаешь все это?

Но немой ответил ему безмолвным, как камень, взглядом. Джослин коротко рассмеялся, похлопал его по смуглой щеке, ущипнул.

— Наверно, твои руки знают, сын мой. В них заключена мудрость. Потому Всевышний и сковал твой язык.

Мычание в горле.

— Ну, ступай. А завтра можешь снова ваять с меня.

Джослин пошел было прочь, но вдруг остановился.

— Отец Адам!

Он поспешил через капеллу Пресвятой девы к священнику, стоявшему в тени, под самыми окнами.

— Все это время вы ждали?

Тщедушный священник терпеливо стоял, держа в руках письмо, как поднос. Его блеклый голос задрожал в воздухе:

— Я не смел ослушаться, милорд.

— Простите, отец, я виноват перед вами.

Но не успел он произнести это, как другая забота уже вытеснила раскаяние из его головы. Он повернулся и пошел к северной галерее, слыша за спиной стук подбитых гвоздями сандалий.

— Отец Адам. Вы ничего... вы ничего не видели у меня за спиной, когда я стоял, преклонив колена?

Мышиный голос пискнул:

— Нет, милорд.

— А если и видели, я повелеваю вам хранить молчание.

В галерее он остановился. Над головой простирались солнечные ветви и стволы, но священники стояли в тени, у стенки, отделявшей хор от

широкой кольцевой галереи. Джослин слышал, как у опор дробили камень, видел пыль, которая плясала даже здесь, за дощатой перегородкой, разве только помедленней. Пляска пылинок увлекла его взгляд вверх, к высокому своду, и он отступил на шаг, чтобы лучше видеть. И тут он почувствовал, что его кованый каблук наступил на мягкие пальцы.

— Отец Адам!

Но священник молчал и не шевелился. Он по-прежнему держал письмо, и лицо его даже не дрогнуло. «Может быть, это потому, — подумал Джослин, — что у него вовсе и нет лица. Он как деревянная кукла, и вместо лица у него гладкая чурка». Джослин со смехом сказал, глядя на его лысину, окруженную каемкой жидких волос:

— Простите, отец Адам. О вас так легко забываешь. — И добавил, смеясь от радости и любви: — Я буду звать вас отец Безликий.

Священник по-прежнему молчал.

— Ну ладно. Давайте это противное письмо.

В другом конце храма собирался хор, готовясь к следующему богослужению. Он слышал, как запели псалом. Процессия двинулась; сначала ясней всего звучали детские голоса, потом они притихли, уступив первенство низким голосам викариальных певчих. Но вот притихли и они, из капеллы Пресвятой девы взмыл одинокий голос: «А-а-а-а» — и, подхваченный эхом, закружился под огромным сводом, настигая сам себя.

— Скажите, отец... Ведь все знают, что по мирским законам она приходится мне теткой?

— Да, милорд.

— Надо всегда быть милосердным — даже к ней, какова бы она ни была теперь... или прежде.

Снова молчание. «Двуя крылами закрывал он ноги свои. Ангел Твой — моя опора. Теперь я могу вынести все».

— Что же говорят люди?

— Но ведь это просто пьяная болтовня, милорд.

— Я хочу знать.

— Люди говорят, что без ее денег вам никогда не построить шпиля.

— Это правда. Что еще?

— Говорят, что даже тот, у кого грехи как багрянец, за деньги будет похоронен у самого престола.

— Так говорят?

Священник все держал письмо в руках, как белый поднос. От письма еще исходил тонкий аромат, забивался в ноздри, словно в галерее, тускло освещенной с севера, вопреки естеству повеяло дыханием весны. И

Джослин, несмотря на начало великого свершения и на ангела, снова почувствовал досаду.

— Оно смердит!

Одиноким голос в капелле Пресвятой девы смолк.

— Читайте вслух!

— «Моему племяннику и...»

— Громче.

(А в капелле Пресвятой девы опять зазвучал голос, перекрывая эхо: «Верую во единого Бога...»)

— «...духовному отцу Джослину, настоятелю собора девы Марии».

(А в часовне молодые и старые голоса слились: «...творца небу и земли...»)

— «Это письмо писано по моей просьбе магистром Годфри, поскольку ты, среди своих пастырских трудов и хлопот о шпиле, не читал, как я полагаю, те письма, которые он написал для меня за эти три года. Итак, дорогой племянник, я снова спрашиваю тебя все о том же. Неужели ты не найдешь времени мне ответить? Когда дело касалось денег, все было иначе, тогда ты отвечал не мешкая. Будем говорить начистоту. И ты, и все люди знают, какую жизнь я прожила, и всего лучше это известно мне самой. Но ведь все кончилось с его смертью, которую я назвала бы убийством, мученической кончиной. С тех пор я несу покаяние перед Творцом, который, надеюсь, продлит дни недостойной рабы своей, полные тяжких испытаний во искупление грехов».

(«...при Понтийском Пилате и страдавшая...»)

— «Я знаю, ты молчишь, потому что осуждаешь мою сделку с царем земным. Но разве не велит Писание отдавать кесарю кесарево? Я исполняла это в меру сил своих. Я должна бы покоиться в Винчестере, среди королей, он обещал это, но мне отказано, хотя недалеко то время, когда я смогу лежать только с мертвыми королями».

(«...судить живых и мертвых».)

— «Магистр Годфри хотел вычеркнуть эту фразу, но я воспротивилась. Неужели в твоём соборе все останки столь уж безгрешны? Ты, верно, думаешь, что у меня нет надежды попасть в рай, но я уповаю на лучшее. По южную сторону от хора есть — или, во всяком случае, был до тебя — уголок, который освещает солнце, между каким-то стародавним епископом и часовней Настоятеля. Надеюсь, меня будет видно от престола, и Бог благосклонней тебя взглянет на прегрешения, в которых мне до сих пор так трудно раскаяться до конца».

(«...исповедую единокрещение во оставление грехов...»)

— «В чем дело? Тебе нужны еще деньги? Ты хочешь возвести два шпиля вместо одного? Знай же, что я намерена разделить свое состояние — он и в этом был щедр, как и во всем прочем, — между тобой и бедняками, оставив лишь, сколько нужно, на свое погребение, заупокойные службы и еще вклад во спасение души твоей матери, с которой мы были очень дружны...»

Он дотянулся и скомкал письмо в руках священника.

— Мы прекрасно обойдемся без женщин, отец Безликий. А вы как думаете?

— Милорд, о них сказано: «Лукавы и коварны».

(«Аминь».)

— А ответ, милорд?

Но Джослин теперь вспоминал о начале свершения, об ангеле и о невидимых очертаниях шпиля, которые уже сейчас открывались глазу посвященного над собором в солнечном небе.

— Ответ? — переспросил он со смехом. — Но зачем же менять решение? Ответа не будет.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Он вышел из галереи через деревянную дверцу и мгновение постоял, моргая от яркого света. Через пролом в северном трансепте мог бы проехать целый фургон, и солдаты из армии главного мастера обтесывали края. Пыль стала гуще прежнего, она клубилась как желтый дым, и он закашлялся до слез. Двое землекопов углубились в землю уже по пояс, и пыль над ними висела так густо, что Джослину показалось, будто их лица искажены чудовищной гримасой, но потом он разглядел, что они просто завязали себе рты тряпками; на тряпках запеклась корка пыли и пота. Возле ямы дожидался подручный; он поднял наполненный землей лоток и пошел через северный трансепт, а его место занял другой. Миновав густую завесу пыли, подручный с лотком на плече натужно запел. При первых же словах Джослин поспешно зажал уши и, глотая пыль, хотел было усовестить певца, но тот словно не заметил его и, распевая, вышел через пролом в стене. Джослин быстро вошел в неф и огляделся. Он поискал возле опор, но не нашел никого. Тогда он решительно свернул в южный трансепт, потом распахнул тяжелую дверь аркады, рывком поднял занавесь. Но в скриптории священнослужителя не оказалось; только дьякон сличал две рукописи, уткнувшись носом в страницы.

— Где ризничий?

Юноша вскочил, подхватив книгу.

— Милорд, он прошел здесь...

Джослин отдернул следующую занавесь, но в учебной галерее тоже никого. Скамьи стоят вкривь и вкось, одна опрокинута. Он подошел к парапету, оперся обеими руками о каменную плиту, на которой были вырезаны клетки и валялись костяные шашки, и выглянул наружу. Ризничий сидел на скамье, вынесенной из школы. Он дремал на солнце, опершись спиной о колонну и сложив руки на коленях.

— Отец Ансельм!

Весенняя муха ударилась в нос отца Ансельма и метнулась прочь. Он приоткрыл затуманенные глаза и снова опустил веки.

— Милорд ризничий!

Джослин поспешно отдернул еще одну занавесь, вышел во двор, остановился перед отцом Ансельмом и, подавляя раздражение, сказал спокойно, как ни в чем не бывало:

— В соборе пусто. Там никто не сторожит.

Хотя казалось, будто отец Ансельм дремлет, он едва заметно дрожал. Он открыл глаза, но не смотрел на Джослина.

— Там пыль, милорд. Вы же знаете, какая у меня слабая грудь.

— Но вам незачем сидеть там самому. Отдайте распоряжение.

Ансельм сдержанно кашлянул: кха, кха.

— Как же мне требовать от других то, чего я не могу сделать сам? Дня через два пыли станет поменьше. Так сказал главный мастер.

— А пока, стало быть, пускай себе распевают любую мерзость?

Как ни старался Джослин сдержаться, он повысил голос, его правая рука сжалась в кулак. Он заставил себя сразу же разжать кулак — будто случайно согнул и разогнул пальцы. Но ризничий заметил его движение, хотя смотрел в этот миг на большой кедр. Он по-прежнему дрожал, но голос у него был спокойный.

— Если вспомнить, милорд настоятель, сколь много теперь у нас против устава творят, то песня, прошу прощения, какой бы мирской она ни была, право, кажется мне невинной. Ведь у нас двенадцать алтарей в боковых нефках. Из-за этой... этой нашей новой затеи там не горит ни одной свечи. И кроме того — еще раз прошу прощения, — поскольку эти чужие люди, собранные неизвестно откуда, по всякому поводу готовы на злодеяние, я полагаю, лучше уж пускай поют.

Джослин открыл было рот, но так и закрыл, не сказав ни слова. Он вспомнил мучительные колебания капитула, а ризничий уже отвернулся от кедра и смотрел теперь прямо на него, склонив голову набок.

— Право, милорд настоятель. Пусть себе поют день-другой, а там хоть пыль осядет.

Джослин перевел дух.

— Но ведь капитул решил!..

— Кое-что было оставлено на мое усмотрение.

— Они оскверняют храм!

Ризничий окаменел, как колонна у него за спиной, и уже не дрожал.

— Но они хотя бы не разрушают его.

Джослин вскрикнул:

— На что это вы намекаете?

Ризничий развел руками, и они замерли в воздухе.

— Я? Ни на что, милорд.

Он осторожно опустил руки и сжал их на коленях.

— Прошу вас, поймите мои слова правильно. Не удивительно, что эти невежественные люди оскверняют воздух своими словами, так же как оскверняют его пылью и вонью. Но они не разрушают воздух. И не

разрушают самый храм.

— А я разрушаю?!

Но ризничий был настороже.

— Разве я говорю о вас, милорд?

— С тех пор, как вы перед капитулом высказались против шпиля...

Негодование комом стало в горле, и он замолчал. Ансельм едва заметно улыбнулся.

— Увы, то была прискорбная слабость веры, милорд. Дело решено, и теперь я понимаю, что мы все должны служить ему, не щадя живота.

«Служить, не щадя живота» — ведь это слова из его речи, и негодование, комом стоявшее в горле Джослина, прорвалось злобой.

— Воистину прискорбная слабость веры!

Ризничий улыбался спокойно и даже ласково.

— Не каждый чувствует себя божьим избранником, милорд.

— Неужели вы думаете, что я, при всей вашей осторожности, не слышу в этих словах обвинения?

— Я сказал только то, что сказал.

— И не соблаговолили встать.

Какие-то ничтожные причины, сплетаясь, приводили Джослина в ярость. Когда он заговорил снова, голос его то и дело пресекался.

— Мне кажется, устав основателя храма еще не утратил силы.

Ризничий не пошевелился. Только бледное лицо как будто слегка порозовело. Потом он подобрал под себя ноги и медленно встал.

— Милорд...

— За рабочими до сих пор никто не присматривает.

Ризничий промолчал. Он сжал руки, едва заметно наклонил голову и пошел к двери. Джослин порывисто протянул руку ему вслед.

— Ансельм!

Ризничий остановился, повернулся к нему и ждал.

— Ансельм, я не хотел... Из старых друзей у меня никого не осталось, кроме вас. До чего мы дошли!

Ответа не было.

— Вы же знаете, я не хотел вас обидеть. Простите меня.

На порозовевшем лице не мелькнуло и тени улыбки.

— Да, пожалуйста.

— Ведь у вас под началом больше десятка людей. Пошлите хоть того мальчика, что сейчас в скриптории. Златоуст может и подождать. Он ждет уже так давно!

Но к ризничему вернулось спокойствие, и он покачал головой.

— Сегодня я никого не стану просить об этом. Там пыльно.

Они помолчали.

«Как же мне быть? Что ж, пустое огорчение, оно скоро пройдет. Но это урок на будущее».

— Ваше распоряжение не отменяется, милорд?

Джослин круто повернулся и поднял голову. Он увидел крытую галерею со стрельчатыми арками, контрфорсы и высокие окна южной стены; глаза его скользнули вверх вдоль угла между этой стеной и трансептом, где была квадратная плоская крыша над средокрестием. Солнце заливало стену, не нагревая ее; каменные утесы тянулись к небу, чисто вымытому ночным дождем. Оно было безоблачно, но предвещало ветер. Джослин созерцал стройные, ему одному видимые линии, которые сами собой вырисовывались над зубцами, в вышине, там, где кружила птица, и сливались воедино на высоте четырехсот футов.

«Да будет так! Любой ценой».

Он снова повернулся к ризничему и успел заметить на его лице сочувствие и в то же время злорадство. «Я твой друг, — говорила его улыбка, — твой духовник и, кроме того, друг». И еще она говорила (а ответить было нельзя): «Незримая громада там, в вышине, — это Джослиново безумство, которое рухнет и погребет под собою весь собор».

— Я жду, милорд.

Джослин сказал спокойно:

— Нет. Ступайте.

Ризничий сжал руки и склонил голову. Это было безропотное повиновение, и даже нечто большее, потому что нить, связывавшая их, перетерлась. У двери трансепта ризничий замешкался, и в том, как он тихонько поднял щеколду и осторожно, с едва слышным скрипом отворил дверь, был неуловимый упрек, какая-то дерзость — и перетертая нить лопнула. «Что ж, — подумал Джослин, — значит, конец». И он вспомнил, какой крепкой и длинной была эта нить, этот канат, связывавший их сердца, и его сердце сжалось. И он знал, что, когда пройдет негодование, он будет тосковать, вспоминая монастырь у моря, сверкающую воду, солнце.

«Это назревало уже давно.

Я не знал, какую цену мне придется уплатить за тебя, высота в четыреста футов. Я думал, ты будешь стоять только денег. Но все равно, любой ценой...»

Он вернулся в собор и, очутившись в трансепте, совершенно забыл про Ансельма, потому что в воздухе стало меньше пыли, а та, что еще оставалась, понемногу оседала. Землекопы сняли свои намордники, пыль

над ними уже не стояла столбом. Видны были только их головы да взлетающие вверх лопаты. Опускаясь, лопаты не звенели о щебень, а с легким шорохом врезались во что-то мягкое, и подручный тащил лоток с черной землей. Но Джослина интересовал не подручный и не землекопы: по ту сторону ямы стоял Роджер Каменщик и пристально всматривался вниз. На миг он поднял глаза к опорам, скользнул по Джослину невидящим взглядом и снова уставился вниз. Это не могло удивить Джослина, потому что взгляд у главного мастера часто был невидящий и когда он смотрел на что-нибудь, то ничего другого словно не замечал, не слышал и не чувствовал. В такие минуты его взгляд как будто схватывал и обтесывал то, на что был устремлен, или вбирал это в себя целиком. Но теперь он смотрел не так. Он пристально вглядывался вниз, и его смуглое лицо выражало попросту удивление и недоверие. Синий капюшон был откинут и лежал складками вокруг толстой шеи, и Роджер поглаживал свою коротко остриженную круглую голову, словно хотел убедиться, что она на месте.

Джослин остановился у ямы и спросил мастера:

— Ну как, Роджер? Ты убедился?

Мастер не ответил и даже не взглянул на него. Он стоял подбоченясь, широко расставив толстые ноги и чуть наклонив вперед крепкое тело в коричневой блузе. Он сказал вниз, в яму:

— Попробуй щупом.

Один из землекопов выпрямился и утер рукой потное лицо. Другой нырнул вниз, и оттуда послышался скрежет. Мастер быстро встал на колени и, ухватившись за край плиты, еще больше подался вперед.

— Есть что-нибудь?

— Ничего, мастер. Вот, глядите!

Появилась голова землекопа и его руки. Он держал железный прут, прихватив большим пальцем одной руки прощупанную глубину, а другой придерживая сверкающее острие. Мастер не спеша смерил прут взглядом от пальца до пальца. Он взглянул сквозь Джослина, сложив губы, словно собирался свистнуть, но не издал ни звука. Джослин понял, что на него нарочно не обращают внимания, и оглядел неф. В дальнем конце он увидел благородную седую голову Ансельма, который сидел у самой двери, повинувшись букве его приказа, но в таком месте, где он ничего не слышал и почти ничего не видел. И Джослин снова с горечью подумал, что он совсем не такой, каким казался, хоть этому и трудно поверить. «Что ж, если не хочет бросить свое ребячество, пусть сидит там, покуда не прирастет к камню! Я не скажу ни слова».

Он опять повернулся к мастеру, и на сей раз его заметили.

— Ну как, Роджер, сын мой?

Мастер выпрямился, смахнул пыль с колен, отряхнул руки. Землекопы возобновили работу, лопаты зашуршали.

— Вы поняли, что это значит, преподобный отец?

— Лишь то, что легенды правы. Но ведь легенды всегда правы.

— Вы, священники, выбираете себе легенды по вкусу.

«Вы, священники!»

«Надо быть осторожным, не то он рассердится, — подумал Джослин. — Пока он повинуется мне, пусть болтает что угодно».

— Согласись, сын мой, ведь я говорил тебе, что этот храм-чудо, а ты не верил. Теперь ты видишь своими глазами.

— Что?

— Чудо. Ты видишь фундамент, или, вернее, видишь, что фундамента нет.

Мастер презрительно и насмешливо фыркнул.

— Фундамент есть. Но он едва выдерживает собор. Взгляните вниз, по стенке, — видите, как это сделано? Вон до тех пор щебень, ниже что-то еще, а дальше — только жидкая грязь. Они настлали бревна, а сверху насыпали щебень. Но этого мало. Наверняка есть твердый грунт, и он должен лежать у самой поверхности. Должен, или же я ничего не смыслю в своем ремесле. Наверное, здесь была отмель, намытая рекой. А эта жижа скопилась просто случайно.

Джослин торжествующе засмеялся. Он вздернул подбородок.

— Вот то-то: мастерство не дает тебе уверенности, сын мой! Ты говоришь, они настлали бревна. Так почему же не поверить, что собор плавает на этом настиле? Проще верить в чудо.

Мастер молча дождался, пока он кончит смеяться.

— Отойдемте-ка в сторонку и поговорим без помех. Вот сюда. Пускай, если вам угодно, собор плавает. Дело не в слове. Положим, это так...

— Именно так, Роджер. Мы всегда знали это. Теперь ты убедился, что мне можно верить. Эта яма совсем не нужна.

— Я копаю, чтоб убедить своих людей.

— Твою армию? А я-то считал тебя военачальником.

— Бывает, армия ведет начальника.

— Плох такой начальник, Роджер.

— Послушайте меня. Фундамент, или настил, если хотите, едва выдерживает собор. Больше ему не выдержать, разве только самую малость. И теперь мои люди это знают.

Джослин старался соблюсти торжественность, но в его голосе

невольно прозвучала снисходительная насмешка:

— Ведь эта яма и для меня, правда, Роджер? Вы роете яму настоятелю?

Но Роджер Каменщик не улыбнулся. Он по-бычьи смотрел на Джослина из-под густых бровей.

— Как это понимать?

— Пускай настоятель убедится, что построить шпиль невозможно. Этим летом нет работы ни в Винчестере, ни в Чичестере, ни в Лейкоке, ни в Крайстчерче, нигде не строят аббатств, монастырей или соборов. И новый король не закладывает замков. Здесь, подумал ты, мы переждем лето, а настоятелю Джослину покажем, какой он дурак. Так можно сохранить армию, пока не подвернется что-нибудь другое, потому что без армии ты — ничто.

Теперь мастер слегка улыбнулся.

— Скоро я найду твердый грунт, преподобный отец, и тогда мы подумаем еще. А если нет...

— Если нет, ты согласишься построить невысокую башню, робко, с опаской и все время поглядывая, не начал ли собор оседать. Ты слишком надеешься на свою хитрость! Ведь строительство башни можно прекратить когда угодно, правда, Роджер? А тем временем твоя армия перезимует здесь и совершит еще не одно убийство.

— Эта драка стоила мне лучшего каменотеса.

— И все ради какой-то жалкой башни. Ну нет, Роджер!

— Я ищу твердый грунт. Это и есть настоящий фундамент.

Но Джослин качал головой и улыбался.

— Ты увидишь, как я подвигну тебя ввысь силою своей воли. Ибо это воля божия.

Мастер перестал улыбаться. Он сказал сердито:

— Если б они хотели построить шпиль, то заложили бы для него фундамент!

— Они хотели.

Роджер Каменщик сразу заинтересовался:

— А план?

— Какой план?

— Всего собора... Вы его видели? Сохранился он у вас?

Джослин покачал головой.

— Нет никаких планов, сын мой. Тем людям не нужны были картинки, нарисованные на пергаменте или нацарапанные на доске. Но я знаю: они собирались построить шпиль.

Мастер почесал в затылке, кивнул.

— Пойдемте со мной, преподобный отец, осмотрим опорные столбы.

— Я и без того их знаю. Не забывай, волею божией этот собор — мой дом.

— Нет, вы взгляните на них моими глазами.

По углам средокрестия было четыре опоры. Каждая поднималась кверху, словно густая купа деревьев, кроны которых поддерживали свод. Вверху, на высоте ста двадцати футов, было сумрачно, и глаз не мог проследить сплетение ветвей вокруг деревянного щита, которым была прикрыта отдушина посередине. Мастер подошел к юго-западной опоре и хлопнул ладонью по одному из стволов. Камень был гладкий, и пыль не держалась на нем; рука встретила свое искаженное отражение.

— Они кажутся вам толстыми и прочными, отец мой?

— Беспредельно.

— Но приглядитесь, как они тонки в сравнении с собственной длиной!

— В этом их красота.

— На них опирается только свод. Они никогда не были рассчитаны на тяжесть, много большую своего веса.

Джослин вздернул подбородок.

— И все же они достаточно прочны.

Теперь мастер улыбался так же двусмысленно, как ризничий.

— Преподобный отец, а как вы стали бы строить такую опору?

Джослин подошел к опоре и пристально взгляделся в нее. Каждая колонна была толще человека. Он провел пальцами по камню.

— Видишь? Тут проходят поперечные щели или швы. Как они у вас называются? Стыки? Наверное, обтесанные камни клали один на другой, как дети складывают кубики.

Улыбка мастера становилась все мрачней.

— Вы называете этих людей праведниками, преподобный отец. Что ж, возможно, они были честные. Но можно было сделать и по-другому.

Мимо опор, хромая, прошел Пэнголл. Следом за ним, передразнивая его, крался подручный. Он точно так же ковылял бочком, точно так же держал голову, и даже взгляд у него был такой же свирепый. Пэнголл резко обернулся, подручный остановился как вкопанный и грубо захохотал. Пэнголл, что-то бормоча, ушел в свое царство.

— А теперь вот что, Роджер. Этот человек...

— Пэнголл?

— Он верный слуга. Вели своим людям оставить его в покое.

Мастер молчал.

— Роджер!

— Он дурак. Почему он не понимает шуток?

— Шутка или не шутка, а пора это прекратить.

Мастер равнодушно взглянул на дверь в Пэнголлово царство и промолчал.

— Роджер... Зачем непременно издеваться над ним?

Мастер быстро взглянул на Джослина. Где-то глубоко внутри оба ощутили толчок, словно колесо вдруг попало в колено; и Джослин почувствовал, как на губах у него трепещут слова, и он мог бы их вымолвить, если б не эти темные глаза, которые так прямо смотрят в его глаза. Словно что-то вот-вот должно было случиться.

— Роджер!

Из капеллы Пресвятой девы шла по галерее кучка прихожан, и впереди всех — Рэчел, без умолку треща языком. И слова, трепетавшие на губах Джослина, замерли.

— Зачем это?

Роджер Каменщик уже снова отвернулся к яме.

— Чтобы отвести беду. Есть у нас такая примета.

А Рэчел, покинув остальных, быстро шла к ним по каменному полу, она размахивала руками и быстро разевала рот, а потом они слышали ее голос:

— Им-то и не снилось, что ихний фундамент раскопают прежде Судного дня, а ведь тоже небось подрядились сделать все по совести, и вот теперь мой муж... — Она кивала и вся тряслась от рвения и не просто придерживала подол, а задирала его так, что открывались неуклюжие ноги. — Ведь ты знал, что там щебень и березовый настил, правда, Роджер? Он всегда все знает, милорд... — «Милорд!» Как будто она не женщина, а каноник и имеет право голоса в капитуле! Она словно говорила всем телом, вытаращив черные глаза, совсем не такие, какие должны быть у добропорядочной, скромной англичанки («не такие, как у застенчивой Гуди Пэнголл, моей возлюбленной дочери во Христе»), будто смыслила что-то в строительном деле и смела прекословить мужчине! Эта Рэчел, темноволосая, темноглазая, напористая, неумно болтливая, могла в случае надобности послужить самым убедительным доводом в пользу безбрачия... — Простите, милорд, но скажу вам, я в этих делах кое-что смыслю, и, помнится, старый мастер, который выучил Роджера, говорил: «Дитя, — это он меня так называл, потому что Роджер был тогда у него в подмастерьях, — дитя, шпиль должен уходить вниз на столько же, на сколько вверх» — или нет, кажется, наоборот: «вверх на столько же, на

сколько вниз». Понимаете, он что хотел сказать... — Она склонила голову набок, загадочно улыбнулась и ткнула пальцем чуть ли не в самое лицо Джослину. — Он хотел сказать, что тяжесть снизу должна быть такая же, как сверху. И ежели строить на четыреста футов в высоту, так и в глубину надо на четыреста футов. Правильно, Роджер? А, Роджер?

Она трещала без умолку, намолчавшись за время молебна, что было для нее тяжким испытанием, и теперь ее смуглое лицо и все тело сотрясались от потока слов, как труба, из которой хлещет вода. Они все-таки казались странной четой — Роджер Каменщик и Рэчел. Они были не только неразлучны, но и схожи внешне — скорее брат и сестра, чем муж и жена: оба темноволосые, крепкие, краснотубые. Они жили особой жизнью, словно бы на острове. Роджер ни разу не поднял на нее руку, частые ссоры у них были подобны вспышкам, которые сразу же задувал ветер, и все снова становилось как прежде. Они вращались один вокруг другого, и со стороны это казалось невероятным. Никто не понимал, как они ладят, хотя, если присмотреться, оказывалось, что у них были свои хитрости в совместной жизни. Например, Роджер Каменщик иной раз вел себя с Рэчел так, что она выглядела смешной, вот как сейчас. Словно не замечая ее, он только повысил голос, чтобы его можно было слышать и понимать. Самого Роджера все это ничуть не раздражало, зато раздражало постороннего, особенно когда этот посторонний облечен высоким духовным саном.

— ... и не так просто, как вы думаете.

Но лицо Рэчел дергалось, и она снова заглушила слова мастера. Джослин сам повысил голос, вступая в дурацкую игру и в то же время сердясь:

— Мы говорили о Пэнголле!

— Она такая миленькая, жаль, что у нее нет детей, но ведь и у меня тоже нет, ничего не поделаешь, милорд, приходится нести свой крест!

— ... я возведу его ввысь, сколько смогу.

— ... нет, сколько дерзнешь.

И вдруг Джослин без помех услышал свой голос. Рэчел отвернулась. Поток ее болтовни теперь поглощала яма.

— Что толку в малых дерзаниях, Роджер? Мои дерзания вознеслись высоко.

— Куда же это?

— На четыреста футов ввысь!

— Стало быть, я вас не убедил.

Джослин улыбнулся и кивнул многозначительно.

— Начинайте строить. Больше мне ничего не нужно.

Они обменялись взглядом, каждый с уверенностью в своей правоте, молча чувствуя, что они ни о чем не договорились и что это лишь краткое перемирие. «Я погоню его вверх — камень за камнем, — думал Джослин. — Ведь ему не было видения. Он слеп. Пускай воображает, будто может прекратить постройку башни, когда вздумает...» Но тут Рэчел повернулась к ним, и они услышали, что в яме ужас как темно и землекопы устали, лошадь и то можно загнать, а тем более смирную, пора кончать работу.

Джослин отвернулся, злясь на себя, и на эту глупую женщину, и на ее мужа, который умеет не обращать на нее внимания, а совладать с ней не умеет. С удивлением он увидел, что солнце уже светит в западные окна, и сразу голод дал о себе знать. Это тоже его рассердило, и совсем слабым утешением было слышать, как мастер обругал Рэчел:

— Дура набитая!

Джослин знал, что это пустые слова, даже не упрек, а скорее всего — просто так, чтобы отвести беду, и что через пять минут они снова будут вращаться один вокруг другого, хохотать, или прогуливаться рука об руку у всех на глазах, или шептаться о чем-то своем. Но, в общем-то, она праведница: из всех слухов и любовных историй на Новой улице, где поселились строители, ни одна сплетня не коснулась Рэчел или мастера. Джослин оглядел неф, залитый солнечным светом, и снова почувствовал досаду. «День начался радостью и великими событиями, — подумал он. — Было начало, и был мой ангел. Но радость понемногу угасла, словно ангел был послан не только укрепить и утешить меня, но и предупредить». Он увидел вдали отца Ансельма, который величественно восседал у западной двери, высоко и неподвижно держа голову в ореоле седых волос, и к его досаде примешалась скорбь. Он вздернул подбородок и, обращаясь к патриархам, вещавшим с цветных оконных стекол, сказал:

— Пускай сердится, если ему угодно.

У него за спиной, в трансепте, раздался смех и замер в проломе. Значит, Рэчел ушла; он обернулся и увидел, что мастер разговаривает с землекопами. Он хотел было вернуться и еще настаивать, убеждать, но раздумал. «Напрасно я сам пошел к нему, — подумал он. — Надо было призвать его к себе и выговорить ему за драку у ворот. А что, если мэр потребует суда? И я не сказал даже половины того, что хотел. А все эта женщина, с ее наглым подергивающимся лицом и бесконечной болтовней. Есть женщины, чье невежество крепче ворот и засовов. Надо было и ей выговорить за нескромность, пусть знает свое место. В другой раз, когда встречу ее одну, поговорю с нею терпеливо, объясню, как она должна себя

вести.

Господи, какими орудиями приходится пользоваться!»

Он услышал в нефе стук подкованных сандалий и подумал, что этот человек похож на деревянную куклу. Он обернулся. Отец Адам шел обычным своим шагом, не спеша, но и не медля, как будто никогда ничего другого не делал, только ходил вот так изо дня в день, приносил, уносил, ожидал распоряжений — безжизненный, равнодушный и покорный. Он стоял перед настоятелем, сложив руки на груди, как игрушка, сделанная ребенком, который даже не пытался вырезать лицо, а руки и волосы нарисовал чернилами. Он снова явился с каким-то делом и теперь задерживал Джослина, который с самого утра ничего не ел.

— Неужели вы не можете подождать, отец Адам?

Отец Безликий...

Отец Безликий проскрипел своим ничтожным голосом:

— Я думал, вы пожелаете прочесть письмо немедля, милорд.

Джослин вздохнул и сказал устало, досадливо, с таким ощущением, будто из него выжали всю радость:

— Ну что ж, давайте сюда.

Джослин повернулся и подставил письмо лучам заходящего солнца. Он читал, и лицо его прояснялось, досаду сменило удовлетворение, потом восторг.

— Вы хорошо сделали, что сразу принесли его мне!

Он преклонил колени, перекрестился и возблагодарил бога. Но волна радости уже нахлынула снова, подняла его с колен, понесла к мастеру, который разговаривал у ямы со своим подручным Джеаном. Когда Джослин подошел, мастер прервал разговор с Джеаном и сказал:

— Твердого грунта все нет. Если вода в реке будет так прибывать, копать глубже нельзя, придется ждать не одну неделю. А может, и не один месяц.

Джослин постучал пальцем по письму.

— Вот тебе ответ, сын мой.

— Что это?

— Милорд епископ не забыл нас. Даже сейчас, пребывая в Риме у Святого Престола, он помнит о своей далекой пастве.

Мастер сказал нетерпеливо:

— Вы что, не хотите понять меня? Говорю вам, из денег шпиль не построишь. Сделайте его из золота, и он только глубже уйдет в землю.

Джослин со смехом покачал головой.

— А теперь послушай меня, и ты увидишь, что тебе не о чем

беспокоиться. Не деньги посылает епископ. В конце концов, что такое деньги? Он посылает нечто гораздо более, бесконечно более ценное... — Волна чувств захлестнула Джослина, взметнула его голос высоко. Он положил руку на плечи мастера, и это было почти объятием. — Мы замуруем его в самый верхний камень шпиля, и он пробудет там до конца дней. Милорд епископ посылает нам святыню. Гвоздь с креста господня.

Он убрал руку с плеч мастера, который стоял с непроницаемым лицом, и взглянул вдоль залитого солнцем неф. Увидев седую голову отца Ансельма, он вдруг подумал, что без исцеляющего бальзама жизнь была бы непереносима. И он быстро пошел, почти побежал к старику через весь неф, размахивая письмом.

— Отец Ансельм!

На этот раз Ансельм встал перед ним. Он встал медленно, безропотно снося свое мученичество, и не закашлялся, дабы соблюсти достоинство, а лишь глухо, едва слышно кашлянул три раза. Лицо у него было холодное и непроницаемое.

— Отец Ансельм. Дружба — бесценное сокровище.

Все то же непроницаемое лицо. Джослин, окрыляемый радостью, не отступал.

— А мы что с ней сделали?

— Вы ждете от меня ответа, милорд, или же это вопрос риторический? Джослин со всех сторон обволакивал его любовью.

— Хотите прочесть это письмо?

— Вы приказываете мне, милорд?

Джослин громко рассмеялся.

— Ансельм! Ансельм!

Старик упрямо отвергал его любовь, отворачивался, глядя на дощатую стенку, и покашливал негромко, но явственно, сухо: кха, кха, кха.

— Если письмо касается капитула, милорд, мы, без сомнения, узнаем его содержание в должное время.

— Ансельм. Я хочу сделать вам подарок. Я освобождаю вас от этой обязанности. Мне следовало знать, что с вашим слабым здоровьем и при таком упорном нежелании... В конце концов, я больше всех занимаюсь этим делом. Я беру все на себя. Вы один можете меня понять, вы, мой духовник, пастырь моей души.

— Позвольте мне спросить, милорд. Значит, я не должен буду ни сторожить в соборе, ни надзирать за сторожами?

— Вот именно.

Выражение лица Ансельма не изменилось, его благородный профиль в

ореоле седых волос был обращен к востоку. Он стоял, величественный, царственный, спокойный. И тяжело обронил:

— А грамота?

Тяжелые слова. То не были жемчуга или самоцветы, которые подобает рассыпать святому. То были булыжники. И Джослин не мог даже обидеться, не находил, за что ухватиться, потому что, хотя слова и были дерзкими, они были верны и отвечали уставу: *«Коль скоро один из четырех высших священнослужителей о чем-либо договаривается с другим, да будет оный договор писан в грамоте»*. Устав был словно начертан перед ними в воздухе, и Ансельм покончил дело, приведя оттуда слова:

— *«Во изменение же писаного да будет тоже дана грамота с приложением малой костяной печати в присутствии обоих священнослужителей»*.

— Да, я знаю.

Ансельм снова заговорил холодно и спокойно. Он уже не кашлял.

— Это все, милорд?

— Да, все.

Он стоял, глядя назад через левое плечо, и слышал, как удаляются шаги ризничего. «Надо забыть о нем, — подумал он. — Я обманулся. У него благородный вид, но из уст его падают только камни».

Он посмотрел на письмо епископа. «Мы словно на весах, — подумал он. — Чем выше поднимает меня радость, тем ниже падает Ансельм. Гвоздь и мой ангел. Канцелярий, мастер и его жена...»

Вдруг он почувствовал, как немилосердно подрезаны крылья его радости, и злоба снова вспыхнула в нем. Пропади они все пропадом, но работа должна продолжаться! Он прошел под западным окном, прижимая письмо к груди, вздернув подбородок, и пробормотал в ярости:

— Теперь уж я сменю духовника!

Вечером, когда он преклонил колени, чтобы помолиться на сон грядущий, ангел снова явился и стоял у него за спиной, утешая его и овевая теплом.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

На другое утро, проснувшись чуть свет, он услышал шум дождя, сразу вспомнил слова мастера и, среди прочего, помолился о хорошей погоде. Однако дождь лил три дня, а потом дал лишь полдня передышки, но облака висели низко, и воздух был сырой — хозяйки сушили белье у очагов, где оно не столько сохло, сколько чернело от сажи; потом ветер снова принес дождь, который не унимался целую неделю. Когда настоятель выходил из своего дома и, закутавшись в плащ, торопился к собору, облака висели над самой крышей, так что даже зубцов не было видно. А сам собор, этот священный фолиант, высеченный из камня, уже не возглашал славу, а лишь бормотал скучную проповедь. Он весь был скользкий, вода струилась по мху, лишайнику и растресканным камням. Когда дождь уныло моросил, время тянулось так же уныло, медленно, тоскливо. А когда начинался ливень, тысяча каменных голов словно оживала, и тогда вспоминалось, что те, с кого они изваяны, давно гниют на погостах подле собора или у приходских церквей. Из разинутых ртов извергалась вода, словно то была новая, неслыханная еще адская мука, и эта вода вливалась в потоки, которые струились по стеклам, свинцу, каменному кружеву, по контрфорсам, башенкам, зубцам и подзорам, а потом с журчанием и бульканьем стекали в канаву у подножия стены. Когда налетал ветер, он не разгонял туч, а только вслепую бил по воздуху, с каждым ударом словно опрокидывая на землю ушат воды, и, когда он хлестал сзади, даже сам настоятель пошатывался, а при встречном порыве втягивал голову в плечи, будто над ним занесли кулак, и плащ трепыхался у него за спиной, как крылья. Когда ветер стихал, облака опускались ниже, и Джослину не видны были даже верхние окна; из-за сплошной завесы дождя он уже не чувствовал величия храма. Теперь ему приходилось довольствоваться тем, что было доступно взору, — углом какого-нибудь мокрого камня, где каждая мелочь казалась огромной и было множество изъянов, словно на коже, когда рассматриваешь ее слишком близко. В углах на северной стороне собора — но теперь не стало солнца, по которому можно было определить, где север, а где юг, — гнезвился застарелый запах мочи. Река, выйдя из берегов, затопила дорогу и, не побоявшись стражи у городских ворот, ворвалась на грязные улицы. Мужчины, женщины и дети сидели, съезжившись, у очагов, и под каждой крышей витал дым от сырых поленьев или торфа. Только в трактирах былолюдно.

Землекопы уже не работали у опор. Однажды Джослин, стоя подле главного мастера, следил, как тот опускает в яму свечу на веревке, и вдруг увидел, что на дне сверкнула вода. Из ямы несло смрадом, и Джослин отступил. Но мастер не обращал внимания на смрад. Он стоял, мрачно уставившись на свечу. Джослин беспокоился, всполошился. Заглядывая Роджеру Каменщику в лицо, он спросил:

— Сын мой, что ты думаешь делать?

Роджер проворчал:

— Дел тут по горло.

Он стал подниматься по скрытой в стене винтовой лестнице; вскоре Джослин услышал его медленные шаги с высоты ста двадцати футов.

С тех пор как на Джослина впервые повеяло вонью из ямы, многое для него переменялось. Теперь он замечал, как этот омерзительный запах примешивается по всему собору к запаху ладана и сгоревшего воска: видно, вода незаметно просочилась в могилы сильных мира сего по обе стороны хора и под арками главного нефа. И оказалось, замечал это не он один. Живые, которые сделали презрение к жизни своим ремеслом, сочли это напоминание слишком бесцеремонным и отправляли службы с неподобающим отвращением на лицах. Проходя из капеллы Пресвятой девы к опорам — в эти дни тут было темно, — он настойчиво повторял себе: «Здесь, где теперь смрадная яма, много лет назад мне было явлено то, что я узрел, и я пал на лицо свое. Нужно всегда помнить об этом».

Теперь мастер и несколько рабочих трудились под самой крышей. Они взломали свод, и, когда в соборе было хоть немного света, вверху виднелись стропила. Люди исчезали на внутренних лестницах и снова появлялись в трифории, крошечные, как мухи, а другие тем временем возводили леса у юго-восточной опоры. Они поднимали подмости все выше, словно ткали паутину, и в конце концов опора стала похожа на елку с обрубленными ветвями. Теперь работа уже не так мешала богослужениям, потому что строители были уже на крыше. Смрадную тишину нефа нарушали только редкие удары молота где-то под крышей. А потом под взломанным сводом повисли канаты, они медленно колыхались, словно собор, по стенам которого снаружи и внутри теперь проступила сырость, пророс каким-то гигантским мхом. Канаты были приготовлены для бревен, которые рабочие станут понемногу подтаскивать сюда через пролом в трансепте, но они были похожи на мох, и запах еще усиливал впечатление. В темноте и сырости даже сам Джослин лишь мучительным усилием воли заставлял себя помнить, какое важное дело здесь совершается; и когда один из мастеровых сорвался и упал с высоты, рассекая отчаянным криком

воздух от свода до пола, такой плотный, что крик, казалось, застыл, как бы вытесанный в этом плотном воздухе безжалостной рукой, Джослин не удивился, что никакое чудо не спасло человека от каменной плиты, неумолимо ждавшей его внизу. На собрании капитула отец Ансельм не сказал ничего, но негодование в его глазах было красноречивей слов, и Джослин понял, что и эта смерть записана в счет, который когда-нибудь будет ему предъявлен. Не темная ночь окутывала собор, а полдень, серый и потому кощунственно безнадежный. Мальчишки из хора истерически хохотали, когда канцелярий, который ковылял вслед за ними из ризницы, поворачивал налево, как привык делать вот уже полжизни, вместо того чтобы пойти направо, в капеллу Пресвятой девы. Несмотря на этот смех и хихиканье, богослужения продолжались и все шло своим чередом; но людей словно давила какая-то незримая тяжесть. Члены капитула брюзжали; ученики певческой школы поскущнели, капризничали, кашляли; мальчишки ссорились, сами не зная из-за чего. Младшие плакали без всякой причины. У старших подолгу стояли перед глазами ночные кошмары: безносые скелеты, которые всплывали под плитами пола и прижимали плоские лица к тяжелым камням. Неудивительно, что дети рады были посмеяться над канцелярием. Но однажды, повернув налево, он не остановился, и тогда за ним пошли двое певчих. Они отыскиали его в полутьме у дощатой перегородки, он шарил по ней, словно хотел пройти к престолу; они вывели его на свет и увидели, как сильно дрожит его правая рука и какое бессмысленное у него лицо. Дряхлого канцелярия отвели домой, и пожилых священников начал терзать новый страх перед старческим безумием. В смрадной полутьме днем и ночью совершались богослужения, и свечи ничего не освещали, лишь туманные нимбы вокруг них мерцали в сыром воздухе, и плыли кверху голоса в страхе перед старостью и смертью, в страхе перед глухими, исполинскими стенами, в страхе перед темнотой и беспредельностью, в которой нет надежды.

— Господи, услышь моление мое!

А потом пополз слух, что в городе началась чума. И лица, взиравшие на свет алтаря, который знаменовал присутствие Святого Духа, — напряженные, безмолвные лица с горящими глазами — множились, толпа росла. Джослин никогда не подходил к этой толпе, потому что у него был ангел, который время от времени утешал, согревал и укреплял его. Но как хороший военачальник, он видел, что людям нужна поддержка: ведь даже ему стало казаться, что мастеровые, эти орудия, которыми приходилось пользоваться, теперь без толку лазают по стенам, как обезьяны. Чтобы ободрить их, он велел вынести макет со шпилем на середину храма и

поставить у северо-западной опоры. Макет стоял на столике, и казалось, он один был чистым во всем соборе, но стоило притронуться к нему, и палец становился мокрым.

Так прошло Рождество. Да возликует небо и возрадуется земля пред Господом, ибо Он грядет.

Так и считалось, что Он грядет, но облака по-прежнему висели над собором, и, если мелкий дождь ненадолго переставал, люди недоверчиво поднимали головы и ощупывали свои лица. Однажды, когда дождь стих, но в сырой пещере нефа стояло особенно сильное зловоние, Джослин пришел к макету, дабы самому ободриться. Он с трудом вытащил шпиль из гнезда, потому что дерево разбухло, и держал его благоговейно, как святыню. Он нежно гладил его, покачивал в руках, смотрел на него, как мать на дитя. Макет шпиля был восемнадцати дюймов, нижняя половина, сделанная в виде четверика, была прорезана высокими окошечками и оканчивалась целым лесом стройных башенок, над которыми поднималось острие, тонкое, без единого украшения, с крохотным крестиком на конце. Крестик был меньше наперсного. Джослин стоял у опоры и все покачивал шпиль, все твердил себе, что теперь вода непременно пойдет на убыль. Ведь вот уже целую неделю нет дождя. Март выдался безветренный, но хмурый, и все же можно было надеяться, что отсыревшее солнце пробьется сквозь тучи и высушит рыхлую грязь на полях. Поглаживая шпиль, он услышал, как Джеан ругается у пролома в трансепте. Он закрыл глаза и подумал: «Мы выдержали! Отныне да будет все по-иному!» И он словно увидел закрытыми глазами, как теплые, сухие дни набирают силу, устремляются к свету. На крыше раздались удары молота, и шпиль, который он держал в руках, вдруг привел его в волнение; он вспомнил стройные линии, сходящиеся в воздухе над собором, и задохнулся от восторга. Он ожил. Вздернув подбородок, он открыл глаза и рот, готовый вознести благодарение Богу.

И замер, не вымолвив ни слова.

Из Пэнголлова царства появилась Гуди Пэнголл. Она сделала три быстрых шага вперед. Потом остановилась и отступила на шаг. И снова пошла, уже медленней, пошла на середину собора, но смотрела она не туда. Она смотрела в сторону. Одной рукой она стягивала ворот плаща, другую с корзиной подняла к груди. Она смотрела в сторону, словно обходя быка или жеребца. Ноги влекли ее подальше от опасного места, она едва не задевала плечом стену, но уйти не могла. Глаза чернели, словно два пятна, на бледном, осунувшемся за долгую зиму лице, рот приоткрылся, она выглядела бы глупо, но такое нежное существо не может выглядеть глупо,

и к тому же этот неприкрытый страх... Джослин проследил за ее взглядом; и тут время понеслось вскачь или, может быть, вовсе остановилось. И поэтому Джослин ничуть не удивился, когда понял, что знает, на кого она смотрит, хотя еще и не видел мастера.

Роджер Каменщик стоял одной ногой на стремянке, под лесами, окружавшими опору. Он спустился вниз и смотрел на Гуди. Вот он повернулся. Вот пошел по каменным плитам, а она двигалась все медленней, прижимаясь к стене. Она отступала, отступала, повернув к нему голову. Но он словно пригвоздил ее к месту и что-то серьезно говорил ей, опустив глаза, а она все смотрела на него, приоткрыв рот и качая головой.

Джослин как будто прозрел. Он все понял, все теперь знал. Знал, что это не первая их встреча. Знал, как они страдают и мучаются. Знал — и это было подобно откровению во время молитвы, — что самый воздух вокруг них стал иным. Некий шатер скрывал их от людей, и оба они боялись этого, но были бессильны. Они разговаривали серьезно и тихо, и, хотя Гуди все время качала головой, она не уходила, не могла уйти, затворенная вместе с ним в незримом шатре. Она была в плаще, с корзинкой, собралась на рынок, и ей не о чем было говорить с мужчиной, а тем более с Роджером, но в таком случае ей довольно было покачать головой, она могла бы вовсе не обратить внимания на этого сильного человека в кожаных штанах, коричневой блузе и синем капюшоне, даже останавливаться было незачем — прошла бы мимо него, отвернувшись, ведь он же не схватил ее. Но она стояла, обратив к нему лицо, и ее черные немигающие глаза и ее губы твердили: «Нет». И вдруг она рванулась, будто в самом деле хотела разорвать висевшую в воздухе преграду, но тщетно, потому что незримый шатер, откуда им не было выхода, только растянулся и не выпустил ее. Она осталась внутри, и так будет всегда, она всегда будет внутри, как сейчас, хотя она и бежит прочь по южному нефу, и лицо ее, только что бледное, пылает. А Роджер Каменщик смотрел ей вслед, и казалось, ничто на свете не существовало для него, ничто и никто, кроме нее одной, и он был бессилен перед этим и невыносимо страдал. Когда за Гуди захлопнулась дверь, он повернулся спиной к Джослину и, как лунатик, пошел к лесам.

И тогда в Джослине словно из какой-то ямы поднялась злоба. Перед глазами возникло ее лицо, которое изо дня в день склонялось перед ним, когда она подходила под благословение, он слышал, как она беззаботно распевала в Пэнголловом царстве. Он вздернул подбородок, и из темной глубины, где бушевали возмущение и боль, вырвалось одно только слово:

— Нет!

Мир, пробуждавшийся к новой жизни, вдруг стал мерзок Джослину, словно его окатило грязью, он едва не задохнулся и, увидя перед собой пролом в трансепте, бросился туда, где брезжил дневной свет. Его настигли насмешливые возгласы мастеровых, и, хотя жгучее чувство терзало его, он понял, какой прекрасный повод для пьяных шуток будет у них теперь: сам настоятель выскочил из пролома в стене, обеими руками неся перед собой свое безумство. Он бросился назад, под своды. Но по северному нефу двигалась небольшая процессия; впереди шла Рэчел, бережно держа бесценную ношу; он заученно благословил и поздравил ее, но жена коннетабля поспешно отобрала у нее ребенка и с важностью направилась к капелле Пресвятой девы, где была купель. А Рэчел осталась, что-то удержало ее на месте, и, хотя перед его невидящими глазами стояли Роджер и Гуди Пэнголл, он постепенно понял, почему она осталась. Он никогда не поверил бы, что женщина, даже оскорбленная (глаза ее вылезли из орбит, черные пряди волос разметались по щекам), может сказать такую мерзость. На этот раз его сковал не поток слов, а самый их смысл. Рэчел — лицо ее дергалось, дрожало, как оконное стекло во время грозы, — объясняла ему, почему у нее нет ребенка, хоть она и молит об этом Бога. Когда они с Роджером в первый год были вместе, она в самую неподходящую минуту засмеялась, никак не могла удержаться, но она не бесплодна, как некоторые думали и даже говорили, нет, избави Боже! Просто она не могла удержаться от смеха, и он тоже не мог удержаться...

Джослин стоял, удивленный, не веря своим ушам, а она исчезла наконец в северном нефе, торопясь поспеть на крещение. Он стоял у лесов, и его ожгла мысль, что таковы все женщины: девять тысяч девятьсот девяносто девять раз они бывают скромны, хоть и болтливы, и в десяти тысячный изрыгнут столь чудовищное непотребство, так грубо обнажат самое сокровенное, словно само взбесившееся чрево обрело язык. И из всех женщин в мире это сделала именно она — невероятная, невозможная и все же существующая Рэчел... принуждена была сделать, потому что не совладала со своим болтливым нутром, в неподобающем месте, в неподобающую минуту, перед самым неподобающим человеком. Она сорвала покровы с жизни, обнажив такие глубины, где царят ужас и смешная нелепость — красно-желтый шут размахивает в страшном застенке своей палкой, на которой подвешен свиной пузырь.

И он со злобой сказал деревянному шпилью, который держал в руках:
— Наглая и бесстыдная женщина!

Шут ударил его в пах свиным пузырем, а он засмеялся дребезжащим смехом, от которого по телу прошла судорога.

И громко воскликнул:

— Грязь! Грязь!

Он открыл глаза и услышал, как его слова гулко отдались под сводом. И увидел Пэнголла — он стоял со своей метлой, застывший, изумленный, у двери в дощатой перегородке. Невольно пытаюсь вложить в свои слова хоть какой-нибудь смысл и скрыть их истинное значение, Джослин воскликнул снова:

— В соборе полно грязи! Они все загадили!

Но из северного трансепта вышли старый каменотес Мел и главный помощник Роджера Джеан. Джеан хохотал, словно не замечая Джослина:

— Разве это жена? Да она просто сторожиха при нем!

У Джослина кровь еще шумела в висках, он попытался заговорить с Пэнголлом как ни в чем не бывало, но почувствовал, что задыхается, словно бегом пробежал через весь собор.

— Как твои дела, сын мой?

Но Пэнголл глядел на него враждебно, озлобленный какими-то своими неудачами или стычкой с мастеровыми.

— Какие там дела...

Джослин уже овладел собой и сказал почти спокойно:

— Я говорил с главным мастером. Ну как, ты помирился с ними?

— Я? Какое там!.. Вы правду сказали, преподобный отец. Они все загадили.

— Но тебя оставили в покое?

Пэнголл сказал угрюмо:

— Они никогда не оставят меня в покое. Я для них заместо шута.

«Чтоб отвести беду». Губы Джослина сами собой повторили эти слова, как ноги сами собой идут по привычному пути.

— Ничего не поделаешь. Все мы должны их терпеть.

Пэнголл, который пошел было прочь, обернулся.

— А почему вы не обратились к нам, отец? Я и мои помощники...

— Вам этого не сделать.

Пэнголл открыл было рот, но смолчал. Он стоял, не двигаясь, и пристально смотрел на Джослина; угол его рта кривился, и, если бы не его преданность и благочестие, это можно было бы принять за усмешку; а в воздухе между ними носились невысказанные слова: «И им тоже не сделать, никому не сделать. Из-за грязи, и воды, и непрочного настила, и высоты, и тонких опор. Это невозможно».

— Они тяжкое испытание для всех нас, сын мой. Я признаю это. Но мы должны терпеть. Ты же сам сказал мне как-то, что собор — твой дом. В

твоих словах была греховная гордыня, но в то же время — верность и рвение. Пусть никогда не будет у тебя мысли, сын мой, что тебя здесь не понимают или не ценят. Скоро они уйдут. А у тебя, когда будет угодно Богу, родятся сыновья...

Рот Пэнголла уже не кривился.

— И храм, который им суждено хранить и оберегать, станет неизмеримо величественней, чем ныне. Подумай сам. Посередине вознесется к небу вот это, — он торжествующе поднял перед собой шпиль, — и они будут рассказывать своим детям: «Это сделано во времена нашего отца».

Пэнголл сгорбился. Метла, которую он держал на весу, задрожала. Его взгляд застыл, оскаленные зубы сверкали. Мгновение он стоял так, уставившись на шпиль, который в упоении протягивал ему Джослин. Потом взглянул на настоятеля из-под насупленных бровей.

— Неужто и вы издеваетесь надо мной?

Он повернулся, быстро заковылял прочь через южный трансепт, дверь его царства захлопнулась, и по всему собору отдалось эхо.

На крыше бил молот: «бам, бам, бам». Стук двери, и удары молота, и запахи, и воспоминания, и поток невыразимых чувств — все разом вдруг обрушилось на Джослина, и он задохнулся. Он знал, где можно вздохнуть всей грудью, ноги, спотыкаясь, сами понесли его туда, и он упал на колени перед алтарем, осиянным неярким светом. Он смотрел на алтарь, жадно открыв рот.

— Я не знал...

Но чистота света оставалась недостижимой, она была как крошечная, бесконечно далекая дверца. Джослин стоял на коленях, мысли его кружились в бурном водовороте, и он не сразу понял, что смотрит на плиты пола, украшенные геральдическими зверями. А еще ближе, перед самыми глазами, стояли люди, четверо — и он снова содрогнулся, — Роджер и Рэчел, Пэнголл и его Гуди, словно четыре опоры средокрестия.

Потом, все еще содрогаясь, он поднял голову и увидел потускневшее великолепие витража, а свет на алтаре раздвоился и теперь сиял отдельно в каждом глазу.

Он прошептал:

— И Ты послал ангела Твоего, дабы он укрепил меня.

Но ангела не было; только водоворот чувств, бурлящий, мучительный, жгучий, и ужас перед злом, которое зреет и разрастается всю жизнь, достигая жуткого, непостижимого могущества на полпути между рождением и старостью.

— Ты, Господи! Ты!

Два света слились в бесконечной дали, и ему захотелось уйти. Но вместо ангела за его спиной прыгали и вопили те четверо, и свет вновь раздвоился. А потом их осталось двое в шатре, он и она, но теперь Джослин, захлестнутый скорбью и негодованием, закрыл глаза и со стоном стал молить Бога о спасении возлюбленной своей дочери.

— Укрепи ее, Господи, по великой милости Твоей и ниспошли ей успокоение...

И тут в голове у него, как живая, забилась мысль. Она пронзила мозг острым копьем. Только что глаза его были закрыты, а сердце переполняла сладостная скорбь. Но теперь в душе не осталось чувств, ничего, кроме этой мысли, которая, казалось, пребывала там с первого дня творения. Никаких чувств, ничего, только одна мысль, и он снова ощутил бремя своего тела. На груди, у самого сердца, лежала тяжесть, болели руки, болела правая щека. Открыв глаза, он понял, что судорожно прижимает к себе шпиль и острая грань впиалась ему в щеку. Он снова увидел плиты пола, и на каждой было по два зверя — когтистые лапы занесены для удара, змееподобные шеи переплелись. Где-то, то ли над плитами, то ли за спиной, где являлся ангел, то ли в беспредельности, которая была у него в голове, возникла яркая картина: Роджер Каменщик, полуобернувшись, глядит с лесов, и невидимые веревки притягивают его к женщине, припавшей к стене. Это Гуди, она тоже стоит полуобернувшись и смотрит не мигая; она чувствует, как натягиваются веревки, качает головой, ее объемлет ужас и желание; Гуди и Роджер в шатре, который всегда пребудет вокруг них, куда бы они ни пошли. И тогда-то всплыла мысль, отчетливая, словно надпись поверх картины. Она была так чудовищна, что заглушила в нем все чувства, и теперь он читал ее с полной отрешенностью, а грань шпиля жгла ему щеку. Так чудовищна была эта мысль и так подавила она все остальные чувства, что ему пришлось произнести ее вслух, а перед глазами его все стояли те двое, связанные меж собой.

— Она удержит его здесь.

Он встал с колен, не глядя на свет алтаря, и медленно пошел к опорам сквозь оглушительную тишину. Он приблизился к столику, где распластался макет, и втиснул шпиль в квадратное гнездо. Потом он вышел из собора и побрел к дому. Он с любопытством поглядывал на свои руки и сосредоточенно кивал. Лишь поздно ночью чувства вернулись к нему; и тогда он снова упал на колени, и слезы хлынули из глаз. И тут наконец явился ангел, который согрел ему душу, и он немного утешился и уже мог переносить эту картину и эту чудовищную мысль. Ангел не оставлял его, и

он сказал, засыпая:

— Ты нужна мне. И только сегодня я по-настоящему понял зачем. Прости меня!

Ангел согревал его.

Но словно для того, чтобы он не забывал о смирении, диаволу была дана власть терзать его всю ночь нелепым и беспросветным кошмаром. Джослину снилось, будто он лежит навзничь в своей постели, а потом он лежал навзничь в болоте, распятый, и руки его были трансептами, и Пэнголлово царство прилепилось у него под левым боком. Приходили люди, мучили его, осыпали насмешками: Рэчел, Роджер, Пэнголл, и все они знали, что у собора нет и не может быть шпиля. А сам диавол, который налетел с запада, облаченный в сверкающую шерсть, стоял над нефом и терзал его так, что он корчился в теплом болоте и громко кричал. Он проснулся в темноте, исполненный омерзения. Взяв бич, он нанес себе семь жестоких ударов по спине, которую недавно согревал лучезарный ангел, по удару за каждого беса. А потом уснул крепко, без сновидений.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

С тех пор Джослин ревностно принялся за труды. Натянув кожаные ноговицы, он объезжал по глубокой грязи окрестные церкви, проверял своих vikariev, произносил проповеди перед изможденными прихожанами. Он проповедовал и в городских церквях, где состоял архидиаконом. В соборе святого Фомы, вещая с высот трифория, над серединой нефа, где полукружьем стояли люди, подняв лица, он вдруг поймал себя на том, что исступленно говорит о шпиле и постукивает кулаком по каменному пюпитру. Но люди стонали и били себя в грудь не от его слов, а потому, что он говорил с таким исступлением, и еще потому, что стояла пора дождей, наводнений, голода и смерти. Поутру ветер разогнал дождевые тучи, и когда Джослин вернулся в собор, то мог наконец снова окинуть взглядом весь храм. Но теперь это было самое обыкновенное здание — столько-то футов в длину, ширину и высоту, лишенное блеска и величия. Джослин взглянул в холодное небо, но там ничего не было. Он пошел к себе и стал смотреть в узкое оконце, потому что в оконной раме стены собора иногда обретали особую четкость и значительность, как на картине. Но теперь перед ним был просто огромный сарай. И к тому же собор как будто стал ниже, хотя Джослин знал, что ему это только кажется. У канавы, под стеною, земля, поросшая жесткой травой, вспучилась от сырости, словно камень выдавливал землю, и теперь он ощущал не столько величие славы божией, сколько тяжесть громады, сложенной людскими руками. А видение шпиля стало далеким, как сон, запомнившийся с детства. И тогда он думал о старом Ансельме, с которым было связано его детство, в голове всплывала мысль: у кого же он теперь будет исповедоваться. Но он с досадой встряхнулся и сказал в пустоту сквозь стиснутые зубы:

— Я творю волю моего Небесного Отца.

В эти дни он оставил без ответа еще одно письмо леди Элисон. И все же ветер принес перемены. Он разогнал тучи и, задувая в открытые двери, очистил собор от вони. Полые воды понемногу спадали, оставляя гниль и разрушение повсюду, кроме троп, которые уже подсыхали, и мощеных дорог, где могли проехать повозки. Теперь, подходя к западной двери, он видел, что каменные головы присмирели, замерли и ждут, напряженно разинув рты, что будет дальше. Он останавливался и раздумывал о том, с каким тщанием и вдохновенностью могучие строители возводили собор,

потому что эти головы словно выросли, вздулись на камне, как нарывы или прыщи, очищающие от недуга, жертвуя собою ради чистоты и здоровья всего тела. Теперь, когда дождя не было, он видел мхи и лишайники, зеленые и черные, отчего казалось, что некоторые из голов поражены болезнью, они бросали по ветру немые кощунства и злобные насмешки, бесшумные, как смерть, которая косит людей где-то далеко, в чужих землях. Святые и мученики, исповедники и праведники у западной стены бесстрастно перенесли зиму, а теперь обсохли и готовы были так же бесстрастно перенести летний зной.

Он чувствовал, что силы как будто понемногу возвращаются к нему. Вспоминая о Роджере Каменщике, который был орудием в его руках, и о женщинах, вращавшихся вокруг него, он говорил себе: «Она праведница!» — и верил, что этого довольно. Потому что все постепенно налаживалось. На собраниях капитула реже слышался кашель, и только один из каноников умер — дряхлый канцелярий неверными ногами переступил последний порог; и поскольку смерть его не была ни мучительной, ни скоропостижной и над ним успели совершить все положенные обряды, следовало скорее радоваться, чем скорбеть. Тем более что новый канцелярий был молод и смиренен. Незаметно пришло время снять занавеси в аркадах, и мальчики из певческой школы теперь играли на воздухе, стараясь залезть на высокий кедр. А однажды утром, войдя в собор, он вдруг увидел, что храм снова полон мирской суеты. Люди глазели на яму у опор или на дыру в своде. Теперь, когда река вернулась в берега и на небе сквозь облака проглядывала синева, вода из ямы ушла, и Роджер Каменщик, спустив туда свечу, не увидел ее отражения. Его армия приободрилась, рабочие насвистывали, взбираясь по лесам к своду и по винтовой лестнице в трифорий^[4]. Возвращаясь оттуда с пустым лотком или с корзиной, они возвещали о своем приближении свистом или песней, столь же безразличные к строгости Великого поста, как каменные изваяния. Напрасно Джослин жаловался Роджеру Каменщику, что его армия слишком шумит. Под тростниковым навесом у северного трансепта все время что-то строга́ли, а с крыши беспрестанно доносились удары и топот. Но Джослин в эту пору Великого поста готовился к решительной битве и, поглощенный приготовлениями, был бессилен перед веселой армией, как девчонка, которая пасет слишком много гусей. Он беспомощно слушал, как они распевают свои песни, беспомощно видел, как передразнивают Пэнголла, беспомощно смотрел на Роджера и Гуди в шатре.

И все твердил:

— Я творю волю моего Небесного Отца!

Однажды утром, войдя в собор («Поднимите, врата, верхи ваши!») и остановившись у ямы, которая больше уже не смердела, он уловил что-то новое в шуме, доносившемся сверху. Он запрокинул голову, так что заболела шея, и в глаза ему засиял клочок неба, звонкий, головокружительный, невероятный, чудесно голубой. И подобно тому как рама его узкого оконца порой придавала глубину и выразительность тому, что открывалось за нею, края маленького отверстия были словно оправой, в которой клочок неба сверкал как драгоценный камень. Наверху строители разбирали крышу, отгибали свинцовые пластины. Голубой просвет разрастался в длину и ширину, объединяя землю с небом как раз там, где скоро, очень скоро вознесутся стройные линии, воплощая собой бесконечность. Запрокинув голову и открыв рот, он смотрел вверх прищуренными, влажными глазами. Он видел, как там суетились люди, которые делали, что им велено, но не ведали, что творят; видел, как белая полоска вторглась в голубизну, потом исчезла; слышал, как подошла Рэчел, треща языком, но не обратил внимания на ее болтовню и не знал, долго ли она пробыла рядом и куда ушла; шея его болела, но он не замечал этого, радуясь, как радуется ребенок, бегущий по цветущему лугу, а голубое пятно, расширяясь, затуманилось в его глазах и превратилось в искрящийся каскад. Наконец он дал отдых шее и погрузился в паутину света, медовых полос, протянувшихся от окон, призрачных огней, которые плыли в его голове и старались затмить голубизну неба, еще дрожавшую перед глазами.

И отныне, всякий раз как армия Роджера работала на крыше, небо смотрело прямо в жадно разинутую пасть ямы. Вскоре стало видно сплетение балок; потом их убрали одну за другой. Рабочие на полозьях втащили в собор огромный кусок парусины, к которому с купола протянулись канаты. Парусину с пением вздернули кверху. Когда работы кончались, она закрывала небо, иногда на нее обрушивался ливень, и там, наверху, словно проходила процессия и слышался рев. А когда погода прояснялась, возвращались строители и снова открывали небо. Каждый день главный мастер осматривал яму. Один раз он сам спустился туда, но сразу же вылез, качая головой, и на ногах у него налипла грязь. Он молчал, зато Рэчел объясняла, как подвигается дело, всякому, кто хотел, а иногда и не хотел ее слушать.

Великий пост кончился, близилась Пасха, Джослину приходилось выслушивать жалобы, что шум с крыши слышен даже в капелле Пресвятой девы, и он решил, что пора ему самому залезть наверх и все осмотреть. Он осторожно, с трудом поднялся по винтовой лесенке и наконец очутился над

сводом, на высоте ста двадцати футов, откуда яма казалась крошечной черной точкой. Перед ним был огромный четырехугольник, огражденный зубцами, залитый светом и воздухом. Он пробрался среди таинственных деревянных и каменных сооружений и выглянул наружу; внизу был двор, посреди которого бугорком торчал кедр. Мальчики из певческой школы бегали по траве взапуски или сидели, склонясь над шашками, на парапете аркады. И Джослин вдруг почувствовал, что любит всех чистой и радостной любовью. Волнение переполняло его. Он отдернул голову — пролетающий ворон едва не задел его крылом по лицу, — огляделся и вновь почувствовал волнение. Оказалось, он стоит у начала новой кладки — первый ряд камней уже обозначил четверик. Каменщик клал слой известкового раствора, тонкий, как пленка белка в яйце. Джослин стиснул руки, поднял голову и торжественно воззвал ко всем разом — и к мальчикам, и к нему, и к Роджеру Каменщику, и к Гуди: «Ликуйте, дочери иерусалимские!»

Наступила Пасха, и это особенно чувствовалось в капелле Пресвятой девы, где праздник возвестил о себе покровом из небеленого холста на алтаре. Свечи тоже были как небеленый холст, прихожане валили толпой, и гроб ждал ангела, несущего благую весть, что Он воскрес. А у опор, куда свет легко проникал через узорные стекла, Пасха явила себя по-иному — шумом и сиянием солнца.

Каменная кладка стала быстро расти, и однажды Джослин, выглянув в окно своего дома, увидел, что белый камень уже поднялся выше зубцов. Вскоре четверик в свою очередь начал обрастать лесами, сперва появился один настил, потом второй. Бревна из леса Айво вползали в собор через пролом в северном трансепте. Со свода спускали канаты, и бревна уходили вверх торчком, как стрелы, а люди сторонились их. Джослин захотел было посмотреть, что с ними делают потом, но мастер не пустил его. Когда же он наконец снова поднялся наверх, то увидел, что бревна из леса Айво — или его отца — образовали четырехугольную основу для перекрытия, которое должно было появиться на уровне прежней крыши. Но посредине оставалось квадратное отверстие, и небо все так же низвергалось сквозь него. Каменная кладка с четырех сторон стала расти неравномерно. Каменщики оставляли просветы, и Джослин понял, что здесь будут окна высотой в пятьдесят футов, освещающие башню.

Капелла Пресвятой девы украсилась цветами, бледные лица прихожан ожили, нежные уста детей источали хвалу. Пришел Айво в полном облачении — его должны были рукоположить в каноники. Он предстал перед тремя священнослужителями и читал из толстой Библии, а может

быть, просто повторял на память — определить было трудно, потому что читал он «Отче наш» и «Богородицу»; однако новый канцелярий сказал, что теперь Айво читает неплохо. Последовало торжественное рукоположение, и солнце заглядывало в маленькие окна, озаряя на стеклах житие святого Альдхельма. Джослин сидел за пюпитром и всем существом своим чувствовал, как растет башня. Он ждал Айво, который подошел с подобающим достоинством. И вот в капелле Пресвятой девы Джослин взял его теплую руку в свою. Обычные вопросы, благословение, рука в пастырской руке, переносный алтарь и, наконец, среди свечей и цветов, поцелуй мира.

А потом Айво снова отправился на охоту.

Тем временем воздух и земля становились все суше, и вот снова появилась пыль. Джослин тщательно обдумал, как с ней справиться, но ему пришлось молча махнуть на все рукой, потому что Пэнголл и его помощники пали духом. Грязь, оставшаяся в нефках, высохла и повисла пыльным облаком. Кроме того, пыль летела через квадратное отверстие над опорами. Она лежала повсюду небольшими кучками и холмиками. Она сверкала в лучах солнца, расползалась и бугрилась по надгробиям. Крестonosцы, застывшие в геральдическом безмолвии на каменных плитах меж колонн нефа, уже не сверкали родовыми гербами, а оделись в грязные кольчуги или латы навозного цвета, словно здесь же и были повержены в кровавом побоище. По эту сторону дощатой перегородки храм стал мирским, как конюшня или пустой сарай для сбора десятины. Весь его божественный смысл сосредоточился теперь наверху, в квадратной башне. Леса внутри башни поднимались все выше, и снизу казалось, будто смотришь в печную трубу, где усердно вьют гнездо птицы. Оттуда свисали канаты, подмости суживали просвет, прямые стойки лесов словно сходились далеко вверх, наклонные стремянки были переброшены от настила к настилу. И повсюду неумоимо сновали строители. Они уже не шумели и не смеялись, как в первые дни весны, а стали молчаливыми и сосредоточенными. Прежде, работая внизу, они держались небрежно и самонадеянно. Но теперь, на высоте почти двухсот футов, они словно постигли какие-то тайны, не доступные никому другому, и оттуда почти всегда доносился лишь деловой шум: там стучали, строга́ли, тесали, скребли. Идя в капеллу Пресвятой девы служить мессу или предаваться одиноким размышлениям у алтаря, Джослин иногда останавливался и, взглянув вверх, видел, как кто-нибудь из рабочих проходит на головокружительной высоте по шаткой доске, перекинутой наискось с бревна на бревно. Он смотрел, как очередной камень из Пэнголлова

царства медленно поднимается кверху в деревянной лотке или раскачивается, повиснув на канате. Он смотрел, как Роджер Каменщик тяжело и осторожно взбирается по стремянкам, и под мышкой у него угольник, а с пояса свисает свинцовый отвес. Кроме того, он носил при себе еще какой-то странный металлический снаряд с дырочкой для глаза. Роджер часами нацеливал это приспособление вдоль стен или из угла в угол. Прodelав измерения угольником или металлическим снарядом, он повторял их в обратном порядке и всякий раз опускал отвес; при этом он отрывал от дела двоих, а то и больше рабочих. Видя, как они теряют время, Джослин задыхался от отчаянья и не уходил, пока неотложные обязанности или письма, принесенные отцом Безликим, не заставляли его опомниться. Но, улучив минуту, он снова возвращался к опорам, смотрел вверх, вскрикивал, и немолодому юноше, который ваял уже третью каменную голову настоятеля Джослина, было нелегко работать.

Однажды он увидел, что люди собрались на самом верху кучками и о чем-то спорят. Он видел, что Роджер Каменщик то старается их развеселить, то заискивает перед ними, притворно сердится или взывает к их благоразумию, но они потеряли понапрасну не один час и лишь потом нехотя вернулись к работе. Тогда мастер вместе с Джеаном спустился вниз, и они занялись каким-то делом. Джослина Роджер со злобой отстранил. Он ставил на пол площадки с водой, подкладывал снизу дощечки, нацеливал свой снаряд. Он сделал зарубки на всех четырех опорах и поверх каждой зарубки поставил отметку мелом. Теперь он по два и по три раза в день возвращался к этим отметкам. Иногда он становился у входа в южный трансепт и смотрел на каждую отметку, а потом на их отражения в площадках с водой. Когда мел осыпался, он ставил новую отметку.

Но Джослин радовался и, проходя мимо него, со смехом качал головой. Время от времени он спрашивал Роджера:

— Как? Сын мой, неужели ты до сих пор не обрел веры?

Мастер не отвечал и только раз, казалось, хотел что-то сказать. Накануне ангел так укрепил Джослина, что он чувствовал в себе силы взвалить на плечи весь собор. Когда он шел через главный неф, по которому в тот миг пробегала Гуди, ему захотелось излить перед кем-нибудь свое торжество, и он крикнул Роджеру, который стоял над площадкой с водой:

— Видишь, сын мой! Я тебе говорил... Опоры не оседают!

Роджер открыл рот, но ничего не сказал, потому что увидел Гуди, которая теперь быстро шла через северный неф; и Джослин понял, что мастер сразу забыл о его существовании. Он продолжал свой путь,

чувствуя, что его торжество как будто слегка потускнело.

К тому же Рэчел в эти дни особенно докучала ему. Когда Джослин смотрел вверх, она стояла рядом, но вверх не смотрела, а без конца болтала, трещала языком, не давала покоя, и у него оставалось только одно, уже испытанное средство — не обращать на нее внимания. Она говорила, что от высоты у нее как на грех кружится голова, а Роджер почти все время работает наверху, и это так опасно. Зато она всегда поджидала Роджера у лесов; и едва он спускался, оба снова начинали вращаться один вокруг другого, словно были одни и никого больше на свете не существовало. Видя это, Джослин всякий раз содрогался и думал, что они казались бы скорее братом и сестрой, чем супругами, если б он не знал о них этой грязной нелепости; он — смуглый, вспыльчивый, тяжеловесный, но ловкий; она — вспыльчивая, смуглая, крепкая, неугомонная. А Пэнголл тем временем одиноко жался к стене, или стоял в задумчивости, опершись на метлу, или ковылял куда-то, преследуемый насмешками мастеровых; Гуди Пэнголл проходила мимо опор — хотя могла бы попасть домой и другой дорогой, — низко, к самой груди, склонив голову; Роджер Каменщик наводил свой снаряд на меловые отметки... Иногда Джослин сам себе удивлялся, или, вернее, его удивлял какой-то темный уголок в его душе, заставлявший губы произносить слова, которые представлялись бессмысленными, и однако эти слова выражали торжество или отчаянье:

— То ли еще будет!

Но потом, тщательно обо всем рассудив, он прозревал, как обернется дело, кивал головой, шел к себе и ждал ангела, у которого обретал утешение, но не совет.

Однажды в июне Джослин пришел в собор с головной болью. Накануне ангел, утешавший его, был особенно щедр, и теперь он то робко, то исполняясь гордости, то снова робко, без конца возвращаясь к одной мысли, сушившей его ум, повторял себе, что это — награда, ибо, несмотря ни на какое сопротивление, он заставил рабочих построить первый ярус башни. А потом он понял, что ангел приходил предостеречь его, ибо диаволу была дана власть терзать его ужасней прежнего, и последний час перед пробуждением был отравлен чудовищными кошмарами. Ранним утром он пришел в собор помолиться. Уже рассвело, и он надеялся застать армию Роджера за работой. Но пыльный сарай был пуст и безмолвен. Он остановился возле высохшей ямы, посмотрел вверх и почувствовал, как в голове разгорается пламя, рождая новую боль, потому что птичьи гнезда в каменной трубе покинуты, канаты висят, колеблемые сквозняком, а вокруг все неподвижно, только розовое облачко потихоньку ползет над собором,

застилая просвет сверкающим покрывалом. Он опустил голову и, повинувшись какой-то смутной тревоге, поспешил в Пэнголлово царство, но в домике было тихо, и стеклорезы куда-то исчезли. Он вернулся в собор, где шаги его отдавались громким эхом, бодро прошел в северный трансепт и выглянул через пролом, отыскивая мастеровых, и тут он увидел всю их армию. Они столпились под навесом, где с осени лежали бревна. С краю молча, не шевелясь, стояли женщины. Мужчины залезли на бревна, которые еще не были убраны. И в глубине виднелся Роджер Каменщик, его голова и плечи темнели в дальнем конце. Он что-то говорил, но Джослин не мог расслышать слов, потому что был далеко, и к тому же вся толпа шумела и волновалась.

Выглядывая из-за неровного края пролома, Джослин умудренно и скорбно кивнул в ответ на свои мысли, а голову его терзала жгучая боль.

«Они хотят, чтобы я прибавил им пенни в день».

Он ушел в капеллу Пресвятой девы, где уже ожили восточные окна, и помолился за мастеровых. И словно вызванные молитвой, они пришли к опорам, он услышал их голоса и шум, еще не успев сосредоточиться. С омерзением обратился он мыслью к козням дьявола, кляня свою окаянную плоть. Но шум в нефе и собственные его воспоминания мешали ему. Он понял, что не молится, а думает — преклонив колени, подперев рукой голову и глядя перед собой пустым взглядом. «Предстоит самое тяжкое испытание, — сказал он себе, — и надо собрать все силы».

А потом вдруг его вырвали из задумчивости. Рядом стоял немой без кожного фартука и без обтесанного камня в руках, он что-то мычал пустым ртом. Он даже коснулся Джослина, зовя его за собой, и снова убежал в шум и суету, к опорам.

«Надо пойти к ним», — подумал Джослин, глядя вслед немому сквозь боль, от которой пылала его голова.

Он сказал вслух:

— Моя пища слишком скудна. Великий пост истощил меня. Разве смею я умерщвлять свою плоть, она ведь нужна для святого дела.

Возле опор раздались крики, и он в тревоге вскочил. Он быстро прошел через галерею и остановился у опор, мигая от яркого света. Солнце радужными нимбами сияло перед его глазами, и без того ослепленными пылающей болью, но он наморщил лоб и отчаянным усилием воли заставил глаза прозреть. Он не сразу понял, что происходит, потому что к нему бросилась Рэчел, она вертелась вокруг него, треща языком, и потребовалось еще одно усилие воли, чтобы перестать ее слышать. Вся армия собралась у опор, целая толпа. Женщины, кроме Рэчел, теснились в

северном трансепте. И он сразу заметил, что толпа растет, подходят все новые люди и, пошептавшись, напряженно застывают на месте. Как будто труппа лицедеев готова начать игру и ждет лишь удара барабана. Тут была Гуди Пэнголл, и сам Пэнголл со своей метлой, и Джеан, и немой, и Роджер Каменщик; они напоминали фигуры на башенных часах, которые замерли в неживых позах и ждут, когда часы начнут бить. Они стояли неровным кругом, обступив яму. У края ямы — и как ни был Джослин обессилен и немощен, он оценил хитроумное приспособление — была установлена на треножнике металлическая пластина, которая отражала солнечный свет, направляя его вниз, на дно. Джеан и Роджер присели на корточки по другую сторону и смотрели вниз.

Джослин быстро подошел к яме, и Рэчел не отставала от него, треща над самым ухом; но едва он приблизился, мастер поднял голову.

— Ну-ка, отойдите все подальше, живо! Прочь к трансептам!

Джослин только было открыл рот, но тут Роджер яростно зашипел на Рэчел:

— Эй ты, не засти света! Прочь во двор!

Рэчел исчезла. Роджер Каменщик снова склонился над краем ямы. Джослин встал рядом с ним на колени.

— В чем дело, сын мой? Скажи.

Роджер пристально всматривался вниз.

— Смотрите на дно. Не двигайтесь и смотрите.

Джослин оперся на руки, наклонился вперед, почувствовал, как через шею и затылок словно хлынул кипяток, и еле удержался от крика. Он зажмурил глаза и ждал, пока в них погаснут вспышки мучительной боли. Над ухом раздался шепот Роджера:

— Смотрите на самое дно.

Он поднял веки, и отраженный солнечный свет мягко коснулся его глаз. В яме было тихо и пусто. Джослин видел все пласты сверху донизу. Сначала камень, те самые плиты толщиной в шесть дюймов, которые были под их коленями, потом, словно свисая с этой каменной губы, — щебень, сцементированный известкой. Дальше, слоем в несколько футов, какие-то волокна — быть может, обломанные и расщепленные концы бревен. Под ними темная земля вперемешку с галечником и еще более темное дно, тоже усыпанное галечником. Джослину казалось, что смотреть здесь не на что, но мягкий свет, отраженный металлическим зеркалом, давал отдых глазам; кругом все притихли.

И вдруг Джослин увидел, как вниз полетели камень и два комка земли, а потом прямо под ним обвалилась глыба не меньше квадратного ярда и с

глухим стуком легла на дно. Она увлекла за собой камни, и они упали на свое новое ложе, тускло поблескивая в отраженном свете. Джослин ждал, пока они улягутся, и вдруг волосы дыбом встали у него на затылке, потому что камни не улеглись. Вот один дрогнул, словно забеспокоился; и Джослин увидел, что все они движутся, подергиваются как личинки. Сама земля двигалась под ними, и от этого личинки копошились, словно каша закипала в горшке; они трепетали, как пыль над барабаном, когда на нем выбивают дробь.

Джослин быстро простер руку, словно хотел охранить дно. Он взглянул на Роджера Каменщика, который не сводил глаз с личинок, губы его были плотно сжаты, и лицо отливало прозрачной желтизной, особенно заметной в отраженном свете.

— Что это, Роджер? Что это?

Там было нечто живое, нечто запретное для глаз, неприкасаемое; сама подземная тьма кружилась, бурлила, закипала.

— Что это? Скажи!

Но мастер все смотрел вниз напряженным взглядом.

Судный день грянет из глубины, а может быть, там, внизу, крыша ада. Может быть, это корчатся грешники, осужденные на вечные муки, или безносые скелеты ворочаются в могилах и хотят восстать, или же просыпается освобожденная наконец от оков живая языческая земля — *Dia Mater* ^[5]. Джослин невольно зажал себе рот; и вдруг судороги прошли по его телу, и он, повторяя все то же движение, раз за разом подносил руку к губам.

У юго-западной опоры всплеснулся пронзительный крик. Там стояла Гуди Пэнголл, и около ее ног перекатывалась упавшая корзина. Под ступенями, которые вели в хор, отгороженный дощатой стенкой, раздался мощный удар; Джослин стремительно, рывком повернул голову и увидел, как брызнули во все стороны каменные осколки, словно кто-то разбил замерзшую лужу. Треугольный обломок величиной с его ладонь долетел до края ямы и упал на дно. И в то же мгновение возник звенящий, невыносимый, немыслимый звук. Он исходил неведомо откуда, его нельзя было проследить, потому что он всюду был одинаков; он острыми иглами впивался в уши. Еще камень упал, рассыпался, осколок звякнул о металлическое зеркало.

А вокруг уже бушевали человеческие голоса — крики, проклятия, визг. Все задвигалось, и это движение сразу стало яростным и безудержным. Люди бросились кто куда, не разбирая дороги, только бы выбраться наружу. Джослин вскочил, попятился, увидел руки, лица, ноги, волосы, блузы,

кожаные робы — все это промелькнуло перед ним, не задевая сознания. Зеркало с грохотом упало. Джослина отшвырнули к опоре, и кто-то — но кто? — взвизгнул совсем рядом:

— Земля оползает!

Он закрыл лицо руками и тут услышал голос мастера:

— Ни с места!

И словно чудом шум замер, осталось лишь пронзительное, безумное, звенящее напряжение. Тогда мастер крикнул снова:

— Ни с места! Слышите? Тащите камень, какой попадет под руку... заваливайте яму!

И снова шум, но теперь он звучал протяжным хором:

— Заваливайте яму! Яму! Яму!

Джослин прижался к опоре, а толпа бурлила, откатывалась. «Теперь я знаю, что мне делать, — подумал он. — Вот для чего я здесь!» Толпа уже возвращалась, чьи-то руки несли каменную голову настоятеля Джослина и швырнули ее в яму, а он тем временем скользнул за опору, в галерею. Он бросился не в капеллу Пресвятой девы, а в хор и упал на колени перед пюпитром, у самого престола. Камни пели, этот звук пронзал его, но он отбивался, стиснув зубы и кулаки. Его воля вспыхнула яростным пламенем, и он вогнал ее в четыре опоры, втиснул в камень вместе с болью в затылке, в висках, в спине, возрадовался в помрачении чувств огненным кругам и вспышкам — пускай бьют прямо в открытые глаза, сильнее, еще сильнее! Стиснутые кулаки тяжело лежали перед ним на пюпитре, но он не замечал их. Смятенный, но упрямый, он чувствовал: это тоже молитва! И он стоял на коленях, недвижимый, скорбный, терпеливый; и пение камней неумолчно звучало в его голове. Под конец он вообще перестал что-либо понимать и знал лишь одно: что держит на своих плечах весь собор. Он замер, время словно остановилось, и вокруг была пустота. Только когда он с недоумением увидел перед собой два бугра, пришло ощущение, что он вернулся издалека, неведомо откуда; вглядываясь в эти бугры сквозь огненные вспышки — они теперь были не такие яркие и не метались, а как бы плыли, — он понял, что это его кулаки, все так же вдавленные в пюпитр. Вдруг он спохватился, почувствовал, что ему чего-то не хватает, и чуть не вскрикнул от ужаса, но тут же понял, что просто камни перестали петь; наверное, они уже делали свое дело у него в голове. Он глянул поверх своих кулаков и увидел Роджера Каменщика, который стоял перед ним и чуть заметно улыбался.

— Преподобный отец...

Джослин сразу опомнился, хотя все еще был оглушен. Слишком

многое переменялось, предстало в ином виде. Он облизал губы и заставил себя разжать кулаки, но над тем, что сжималось у него внутри, он не был властен.

— Что скажешь, Роджер, сын мой?

Роджер Каменщик улыбнулся — теперь уже открыто.

— Я смотрел на вас и ждал.

(«А видишь ли ты, как накалена моя воля, упрямец? Я боролся с ним, и он не одолел меня».)

— Я всегда рад тебе помочь, когда у тебя есть нужда во мне.

— Вы?..

Мастер сцепил руки на затылке и качнул головой, словно стряхивал что-то. «Вот оно что, — подумал Джослин. — Он почувствовал себя свободным. Он думает, что теперь свободен. Он не понимает. Не знает. У него сейчас легко на сердце». Мастер опустил руки и задумчиво кивнул, как бы соглашаясь.

— Ваша правда, отец. Я не спорю, вы всегда принимали нашу работу близко к сердцу. Конечно, вы не могли предвидеть... Но ведь все решилось само собой, верно? И отчасти я рад. Или нет. Я рад от души. Теперь все ясно.

— Что же именно?

Роджер Каменщик рассмеялся безмятежным смехом в полумраке хора.

— Да ведь тут и говорить не о чем. Строить дальше нельзя.

Губы Джослина скривились в улыбке. Роджер маячил где-то далеко, совсем крошечный. «Вот сейчас, — подумал он. — Сейчас посмотрим».

— Объясни мне.

Мастер пристально осмотрел свои ладони, отряхнул с них пыль.

— Вы сами все знаете не хуже меня, преподобный отец. Выше нам не подняться.

Он усмехнулся.

— Как-никак первый ярус готов. Можно поставить башенки по углам, и над каждым окном будет по голове настоятеля Джослина — кстати, их придется ваять заново. Мы наведем крышу, и посередине можно установить флюгер. Если сделать больше, земля снова начнет оползать. Да, вы были правы. Это невероятно даже для тех времен, но у собора нет фундамента. Вообще никакого. Под ним просто земля.

Выдерживая страшную тяжесть собора и ожидая, что ангел вот-вот вернется, Джослин выпрямился и сложил руки на коленях.

— Что нужно, Роджер, чтобы тебя успокоить? Я хочу знать, как сделать шпиль надежным по всем правилам твоего искусства и мастерства?

— Это невозможно. Или скажем так: мы тут не можем ничего поделывать. Будь у нас сколько угодно времени и денег, я уж не говорю о мастерстве... Ну, тогда мы могли бы разобрать весь собор по камешку. Мы вырыли бы котлован сто на сто ярдов и, скажем, футов на сорок в глубину. А потом заполнили бы его камнем. Но, конечно, сперва его залило бы водой. Подсчитайте, сколько потребуется людей с ведрами? И представьте себе, что неф все это время стоит на краю трясины! Вы меня понимаете, отец мой?

Джослин повернулся и сквозь пламя, пылавшее у него в голове, взглянул на престол. «Вот как это бывает, — подумал он, — вот как бывает, когда приносишь себя в жертву и жертва угодна Богу».

— Ты боишься дерзнуть.

— Я дерзал до последнего.

— Какое там. Где же твоя вера?

— Думайте что угодно, отец мой, но теперь — конец! И говорить больше не о чем.

«Вот что чувствуешь, когда твоя воля слита с великой, беспредельной Волей».

— Видно, Роджер, ты нашел наконец другую работу. Где же это — в Малмсбери?

Мастер равнодушно посмотрел на него.

— Пусть так, если хотите.

— Да я не хочу, я знаю, и ты тоже знаешь. Там ты думаешь перезимовать и получить работу для своей армии.

— Надо же людям жить.

У опор всколыхнулся шум, который пробудил в Джослине досаду. Он закрыл глаза и сказал сердито:

— Кто это там?

— Мои люди. Они ждут.

— Ждут нашего решения.

— Земля решила за нас!

Тяжелое дыхание мастера раздавалось совсем близко, у самых зажмуренных глаз Джослина.

— Отец, надо остановиться, пока не поздно.

— Пока есть другая работа для твоей армии!

Теперь и в голосе мастера зазвучала злоба.

— Ну что ж. Я спорить не стану.

Джослин почувствовал, что дыхание удаляется, и быстро простер руку.

— Подожди. Подожди минутку!

Он сложил руки на пюпитре и осторожно опустил на них голову. Он подумал: «Сейчас все тело мое вспыхнет огнем, и сердце будет корчиться в пламени. Вот это мое предназначение».

— Роджер, ты здесь?

— Ну?

— Выслушай меня. Что на свете ближе, чем брат брату, дитя — матери? Ближе, чем рот и рука, мозг и мысль? Видение, Роджер. Я знаю, этого ты понять не можешь...

— Нет, могу!

Джослин поднял голову и вдруг улыбнулся.

— Можешь, да?

— Но есть предел, за которым видение не более чем детская сказка.

— А! — Он медленно, осторожно покачал головой, и огни поплыли перед глазами. — Значит, ты ничего не понимаешь. Ничего.

Роджер снова подошел к нему по гладким плитам пола и остановился, глядя на него сверху вниз.

— Преподобный отец. Я... я восхищаюсь вами. Но против нас сама земля.

— Ближе, чем земля к ступне...

Роджер упер руки в бока, отбросив последние сомнения. Голос его зазвучал громче:

— Слушайте. Можете говорить что угодно. Я все решил.

— Ты, но не я.

— Конечно, я понимаю, что это для вас значит. Поэтому я и хочу вам все объяснить. Видите ли, тут есть еще помеха. Меня заманили.

— В шатер.

— В какой шатер?

— Нет, это неважно.

— Я чуть не попался, но теперь, когда строить дальше нельзя, я могу уйти, уйду и все забуду, чего бы это ни стоило.

— Порвешь путы.

— Ведь, в конце концов, это лишь тоненькая паутинка. Кто бы мог подумать!..

Осторожно, не спуская глаз с расставленной западни, Джослин поманил зверя.

— Да, всего только паутинка.

— И еще одно. То же, что для священника святость его сана. Вы должны понять, отец мой, что это такое. Честь мастера, если угодно.

— И выгодная работа для твоей армии в Малмебери.

— Да поймите же вы!..

— Таким способом ты думаешь сберечь и честь, и свою армию. Но все не так просто. Цена огромна, Роджер.

— Ну что ж. Тогда — прощения просим.

В голове у Джослина среди пламени закружились Гуди Пэнголл и Рэчел. И лица всех каноников... «Мне было видение. Я защитил бы ее, если бы мог, — защитил бы их всех. Но каждый сам в ответе за свое спасение».

— Ты один можешь построить шпиль. Так говорят все. Ты, знаменитый Роджер Каменщик.

— Его никому не построить!

У опор раздался яростный вопль, потом взрыв смеха.

— Как знать, Роджер. А вдруг найдется человек смелее тебя.

Упрямое молчание.

— Ты просишь освободить тебя от подряда, скрепленного печатью. Это не в моей власти.

Роджер пробормотал:

— Ну и пусть. Будь что будет — я решился.

Решился бежать от паутины, от страха, от самого себя, которому не дано дерзать.

— Не торопись, сын мой.

У опор снова раздались крики, и шаги мастера стали удаляться по каменным плитам. Джослин снова простер руку:

— Постой.

Он услышал, как мастер остановился и повернулся к нему. «До чего я дошел? — подумал он растерянно. — Что я делаю? Но иного пути нет!»

— Да, отец?

Джослин сказал с досадой, прикрыв глаза руками:

— Подожди. Подожди минуту!

Нет, ему не нужно было оттягивать время: решение уже пришло само. Где-то позади глаз всплыла мучительная тревога, но не потому, что шпилю грозила опасность, нет, именно потому, что шпилю ничто не грозило — он будет построен, это предопределено и теперь еще более неизбежно, чем прежде. И он знал, что делать.

Он задрожал всем телом, как, наверное, дрожали камни, когда начали петь. А потом эта дрожь утихла так же внезапно, как пение камней, и он стал спокоен и холоден.

— Я написал в Малмсбери, Роджер. Аббату. Я знал о его намерениях. И известил его, что вы еще долго будете заняты. Он наймет других.

Он услышал быстрые приближающиеся шаги.

— Вы!..

Он поднял голову и осторожно открыл глаза. В хоре теперь было почти темно, но скупые блики света превратились в огненные вспышки и ореолы, озарившие все вокруг. Они окружали мастера, который обеими руками стиснул край пюпитра. Его руки так сжимали доску, словно он хотел ее разломить. А Джослин, щурясь от сияния, заговорил тихо, потому что слова эхом отдавались в голове, причиняя ему боль:

— Сын мой. Когда столь великое дело предопределено, оно неизбежно должно быть вложено в душу... в душу человека. И это ужасно. Только теперь я начинаю понимать, как это ужасно. Это подобно горнилу. О цели человек, быть может, и знает кое-что, но не знает, какой ценой... Да отчего они там не помолчат? Отчего не подождут смирно? Нет, не знает. Мы с тобой избраны, чтобы свершить это вместе. Свершить великое и славное дело. Теперь я истинно знаю: оно погубит нас. Но в конце концов, кто мы такие? И я заверяю тебя, Роджер, всей душой своей: шпиль можно построить, и мы построим его, невзирая ни на какие козни дьявола. Его построишь ты, потому что никому другому это не под силу. Я знаю, надо мной смеются. И над тобой, наверное, тоже будут смеяться. Пусть. Мы строим для них и для их детей. Но только я и ты, сын мой, друг мой, только мы, когда перестанем мучить самих себя и друг друга, будем знать, из какого камня, и бревен, и свинца, и известки он построен. Ты меня понимаешь?

Мастер смотрел на него. Он уже не сжимал пюпитр, а цеплялся за него, как за обломок доски в бушующем море.

— Отец, отец... ради Господа, отпустите меня!

«Я делаю то, что должен сделать. Этот человек уже никогда не будет прежним перед лицом моим. Никогда он не будет прежним. Я победил, теперь он мой, мой пленник, и он исполнит свой долг. Вот сейчас западня защелкнется».

Шепот:

— Отпустите меня.

Щелк!

И молчание, долгое молчание.

Мастер разжал руки и медленно попятился сквозь сияние в клокочущий шум за перегородкой. Голос его звучал хрипло.

— Вы не знаете, что будет, если мы станем строить дальше!

Он пятился, широко раскрыв глаза; у двери он остановился.

— Вы не знаете!

Ушел.

Шум у опор затих. Джослин подумал: «Нет, это не камни поют. Это у меня в голове». Но тут тишину рассек яростный рев, а потом он услышал крики Роджера Каменщика. «Надо идти, — подумал он, — но к нему я не пойду. Я лягу. Только бы добраться до постели».

Ухватившись за пюпитр, он с трудом выпрямился. Он подумал: «Это уж его забота. Пускай все улаживает он, раб моего великого дела». Он осторожно вышел в галерею. На ступенях он помедлил, прижался спиной к стене, закинул голову и закрыл глаза, собираясь с силами. «Они в бешенстве, но все равно придется пройти через их толпу», — подумал он и неверными шагами спустился со ступеней.

Его встретили взрывом хохота, но смеялись не над ним. Звуки казались тусклыми, как огни, кружившие у него в голове. Повсюду были коричневые блузы, кожаные робы, синие куртки, ноги, обмотанные крест-накрест, кожаные котомки, бородатые лица, оскаленные зубы. Вся эта громада двигалась, бурлила и шумом своим оскверняла святость храма. Он взглянул на яму, по-прежнему черной пастью зиявшую в полу; сквозь лес ног он увидел, что яма засыпана не доверху. Он знал, что это кошмар: все, что он видел, запечатлевалось в глазах, как при вспышках молнии. Он увидел людей, которые насмеялись над Пэнголлом, держась подальше от его метлы. Это было словно апокалипсическое видение: мастеровой, приплясывая, приблизился к Пэнголлу, и макет шпиля бесстыдно торчал у него между ног... А потом вихрь, шум, звериные морды обрушились на Джослина, швырнули его о камень, и он уже ничего не видел, только слышал, как Пэнголл рухнул... Услышал протяжный волчий вой, с которым он побежал через галерею, услышал, как вся свора, улюлюкая, устремилась следом. Едва дыша, он чувствовал, что немой стоит над ним на коленях, а коричневые туши лезут, напирают, давят на него сзади. Он лежал, ожидая, что напряженные руки вот-вот не выдержат, дрогнут и страшная тяжесть раздавит их обоих, и в этот миг понял, что еще одна картина навеки запечатлелась в его глазах. Всякий раз, как он окажется в темноте, не занятый мыслями, эта картина будет представать перед ним. Это была... была и всегда будет Гуди Пэнголл, стоящая у каменной опоры, где ее накрыла людская волна. С нее сорвали платок. Пряди волос разметались, упали на грудь лохматым рыжим облаком; болталась спутанная, перекрученная коса с развязавшейся зеленой лентой. Гуди прижималась к опоре спиной, хваталась за камень, и сквозь дыру в разодранном платье сверкал белый живот с впадинкой пупка. Она повернула голову, и Джослин знал, что до скончания времен не забудет,

куда устремлен был ее взгляд. С того мгновения, как раскинулся шатер, ей больше некуда было смотреть, некуда повернуть лицо с побелевшим, стиснутым ртом, кроме как к Роджеру, который стоял по другую сторону ямы, простирая руки в терзаниях и мольбе, покоряясь и признавая свое поражение.

И тут руки немого дрогнули.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Когда он очнулся у себя в спальне, пение зазвучало снова, но он не мог вспомнить, откуда оно исходит. От этого оно не давало ему покоя, он вертел головой и тревожился тем более, что сам был заперт, как в клетке, в собственной голове, где царила почти полная пустота. А то немногое, что там было, без конца кружилось, тщетно пытаясь найти свое место. Меж потоками событий образовался некий водораздел, связанный с каким-то разговором, и он помнил, что это был разговор с Роджером Каменщиком, кажется, в темном хоре. И еще были встрепанные рыжие волосы, разметававшиеся по зеленому платью, и каменная опора позади. Это мучило его невыносимо, потому что, несмотря ни на какие усилия, он не мог снова увидеть под этими волосами тихую женщину, ту самую, которая так тихо, с улыбкой, входила в собор, останавливалась и осеняла себя крестным знамением, когда он ее благословлял. Эти рыжие волосы, так неожиданно обнажившиеся из-под строгого платка, словно нанесли прошлому смертельную рану, или совсем стерли его, или же смешали череду дней. Он старался вновь увидеть эту женщину, вернуться к прежним, безмятежным временам, но не мог, потому что перед глазами стояли рыжие волосы. А пронзительное пение звучало неотступно, и все остальное было как бы ненужным привеском.

Отец Ансельм, молчаливый и отчужденный, пришел исповедать его, но он ничего не помнил, кроме того, что хотел сменить духовника, и отец Ансельм ушел. Тогда Джослин встревожился и несколько раз посылал узнать, что происходит; он боялся, что армия прекратила работу. Но отец Безликий принес удивительную весть:

— Они работают смирно и прилежно. Все тихо.

И Джослин понял, что великое дело по-прежнему не в людских руках.

И тогда он спросил о Роджере.

— Он бродил по собору. Говорят, ищет чего-то. Но чего, никто не знает.

— А она?

— Как всегда, ходит за ним следом.

— Я не об этой спрашиваю. Я о рыжеволосой. О жене Пэнголла.

— Ее почти не видно.

«Это от стыда, — подумал Джослин. — Другой причины нет. Она прорвала шатер, и эти люди видели ее полунагую, растрепанную».

И тут отец Безликий заговорил снова:

— А муж ее, Пэнголл, сбежал.

Тогда голова Джослина произнесла перед отцом Безликим проповедь о цене камня и бревен. У этой проповеди было странное свойство: после всех блужданий она, как планета, снова и снова возвращалась к исходной точке. В какой-то миг, посреди проповеди, голова, истерзанная болью, погрузилась в глубокий, здоровый сон. Пробудившись, она уже знала, где она и что происходит вокруг. Более того, во сне она обрела новую крепость, словно погружалась в него не для отдыха, а для исцеления. Она обрела пылающую уверенность, в сравнении с которой прежняя уверенность могла показаться лишь детским упрямством. «Я должен встать», — подумал он; пошатываясь и смеясь, он встал с постели. К нему бросился отец Безликий, но он обеими руками оттолкнул тщедушного священника:

— Нет, нет, отец Безликий! Пустите. У меня важное дело!

И эти слова исторгли у него визгливый смех, который прозвучал на двух высоких нотах. В этом смехе была некая неизбежность. Он спустился с лестницы, вышел во двор, под сентябрьское солнце, и поплелся к собору зигзагами, словно брел через высокие хлеба. У западной двери он остановился, тяжело дыша, овладел собой и вошел, а в голове у него пылала новая уверенность, наполняя его мучительной радостью.

Увидев опоры, он сразу вспомнил, откуда исходило пение; и едва он вспомнил это, звук смолк, и в голове воцарилось каменное безмолвие. Он постоял немного, наслаждаясь тишиной, сознавая, хоть и смутно, что все-таки он человек. Он понял, что теперь все ничтожное и мелкое отринуто — повседневные обязанности, молитвы, исповедь; осталось лишь его неизбежное — единение со шпилем. Джослин увидел Роджера, который разговаривал у лесов с кем-то из мастеровых, и побрел туда, часто дыша. Он с наслаждением присел у опоры и прислонился к ней спиной. Мастеровой ловко полез наверх, к свету, сиявшему в башне, и тогда Джослин крикнул Роджеру Каменщику:

— Ты видишь, Роджер, я вернулся!

И опять каждое слово рождало в нем тяжесть, которую мог облегчить лишь визгливый смех на двух нотах. Он услышал свой смех и понял, что ему не подобает так смеяться, но ничего не мог поделать, было уже поздно. Смех отзвучал, и башня поглотила его. «Плохо, — подумал он. — Так больше нельзя». Он снова взглянул на Роджера Каменщика, но тот уже лез вслед за мастеровым, размеренно и тяжело взбираясь по стремянкам. Джослин вытянул шею, запрокинул голову и проводил его взглядом до самой квадратной трубы с правильным узором птичьих гнезд, которая

устремлялась в поднебесную высь. Он видел, как отвесно поднимались вверх белые стены и высокие оконные проемы, куда уже вставляли цветные стекла. В небе появилось нечто новое, насквозь пронизанное солнцем, и Роджер Каменщик, который лез вверх неуклюже как медведь, был обвит солнечной спиралью. Джослин вдруг понял, что он в своей голове подгоняет мастера, подталкивает его все выше, выше и так будет до тех пор, пока Роджер, призвав на помощь все свое мастерство, не увенчает шпиль огромным крестом на высоте четырехсот футов. Сияние в каменной трубе, прикрытой шапкою облаков, ослепило его, он опустил голову, вытер слезящиеся глаза и, моргая, уставился в пол. Но пола словно не было. Осколки камня, щепки, стружки, обрезки, пыль, грязь, доски, что-то похожее на обломок метлы — весь этот хлам небрежно свалили у опор, очистив место вокруг ямы. Это рассердило его, и с языка уже готово было сорваться гневное восклицание: «Да где же Пэнголл!» — но тут он вспомнил, что Пэнголл бросил ее. Потирая лоб, он сказал себе, что Пэнголл не сможет жить без собора, в котором был заключен весь его мир. «Он вернется, — подумал Джослин, — хотя, быть может, не раньше, чем уйдет армия. И надо позаботиться о Гуди». Он огляделся, почему-то надеясь увидеть ее где-нибудь поблизости. Но собор был пуст — только пыль, солнце, пронзительный шум из каменной трубы и отдаленное пение в капелле Пресвятой девы. «Нужно позаботиться, чтобы она ни в чем не нуждалась», — подумал он, но тут же забыл, зачем это нужно. С кучи мусора ему на ногу упала веточка, и подгнившая ягода бесстыдно прильнула к башмаку. Он с досадой отшвырнул ее и, как это теперь часто с ним случалось, уже не мог забыть веточку с ягодой, и она потянула за собой целую цепочку воспоминаний, тревог и случайных сопоставлений. Он поймал себя на том, что думает о корабле, построенном из такого же вот непросушенного дерева, веточка в его трюме проросла зеленым листом. И тотчас перед его глазами мелькнул шпиль, искривленный, обросший побегами и сучьями: от ужаса он вскочил на ноги. «Надо все разузнать, — думал он, — надо проследить, чтобы не было ни дюйма такого дерева». Но тут он вспомнил, что шпиль еще не начат и даже башня не готова; он сел и, моргая, стал смотреть вверх.

Отверстие, над которым строилась башня, стало меньше, потому что часть бревен нижнего перекрытия уже легла на место. Но посередине еще оставался широкий проем, через который наверх поднимали камни и бревна. И все же этот поднебесный мир, где кипела работа, был теперь как бы отделен, отгорожен бревнами и потому казался ярче, там сплетались солнечные лучи, косолапые людские фигуры, помосты, канаты и почти

отвесные стремянки. На самом верху, в углу, была подвешена будка, словно ласточкино гнездо. Джослин видел, как мастер, пятясь, вылез оттуда и нацелил на что-то свой металлический снаряд. «Я и не знал, как все это сложно, — подумал он. — Я прочертил в небе простые линии, и вот теперь, чтобы достичь этого, моей воле приходится удерживать там, наверху, целый мир. А веточка могла отломиться от лесов — ведь леса, наверное, делают из непросушенного дерева, и, уж во всяком случае, их снимут, когда все будет кончено».

Он услышал знакомое постукивание и скрежет, повернул голову и увидел немого юношу; тот сидел у опоры, и на коленях у него был новый камень. Джослин встал и медленно пошел к нему. Юноша поспешно положил камень рядом с собой и вскочил, улыбаясь, кивая, тихонько похлопывая в ладоши.

Джослин благословил его.

— Сын мой. Ведь я обязан тебе жизнью. — Он почувствовал, что следом уже рвется визгливый смех, и кое-как скрыл его под обычным смешком. Юноша развел руки и пожал плечами. — А тебя самого не ранили?

Юноша беззвучно засмеялся и коснулся своего носа, который распух и покраснел. Потом он вытянул правую руку, с улыбкой согнул ее в локте и тронул пальцем мускулы. Джослин, охваченный внезапным порывом любви, обнял юношу, прильнул к нему, как к каменному столбу или к стволу дерева.

— Сын мой, сын мой!

Немой улыбался, что-то мычал и робко похлопывал его по спине.

— Я отблагодарю тебя, сын мой.

Юноша затих в его объятиях и только легонько похлопывал настоящего по спине: хлоп, хлоп, хлоп. «Он мой сын, — думал Джослин, — а она — дочь». Но рыжие волосы упали, застили свет; он зажмурился и застонал. А потом он почувствовал бесконечную усталость, ушел к себе и лег. Ночью снова явился ангел, и после этого диавол терзал его, но не слишком долго.

Мало-помалу он окреп и радовался, что лето не спешит уходить, как бы в награду за весенние грозы и наводнения.

Наконец листья облетели, они лежали на земле, жухлые и сухие. Жесткая трава у собора хрустела под ногами, она была бурая и ломкая, как старый веник, а каменные головы, осужденные на какие-то непостижимые и бесконечные муки, теперь разевали рты, словно ловили капли воды в сухом воздухе. Они никогда не знали покоя. Они были в аду и не могли

надеяться на лучшее, вот и все. В этом сухом воздухе воля Джослина уже не пылала, а горела спокойным, ровным огнем, освещая и поддерживая одни только растущие стены башни. Немой тесал камни, строители лезли вверх по лесам, Рэчел кружила вокруг Роджера, а Гуди Пэнголл лишь изредка мелькала в дальнем конце собора — рыжие волосы покрыты платком, голова опущена: самая обыкновенная женщина, занятая своим делом. Джослина она обходила стороной, прибавляя шаг и отворачиваясь, словно перед ней был черный кот, или призрак, или могила самоубийцы. Но он знал, что она просто стыдится — ведь ее бросил муж, — и от жалости у него щемило сердце. «Но я не могу ей помочь, моя воля нужна для другого, — думал он. — Моя воля сильна, она отринула все, кроме главного. Я как цветок, который несет в себе завязь плода. Когда завязь начинает расти, а лепестки увядают, цветок поглощен лишь судьбою плода, и все растение поглощено этим, листья осыпаются, все вянет, кроме наливающегося плода. Иначе и быть не может. Вся моя воля в опорах и растущей кладке. Я принес себя в жертву, и я из всего извлекаю урок».

Иногда он видел, как Рэчел кружит у опор и пристает ко всем со своей болтовней, а потом останавливается и глядит, как ее увалень взбирается на башню; эта болтливая Рэчел, заведя настоятеля, бросала все и устремлялась прямо к нему. Но однажды он понял, как легко с ней совладать. Он просто перестал обращать на нее внимание, научился не слышать ее голоса, раздававшегося над самым ухом. Она забегала вперед и о чем-то спрашивала, а он не слышал ни звука, и только в воздухе словно бы повисал вопросительный знак. Он стоял и смотрел на нее с высоты своего роста. Она постарела, осунулась, но это его не интересовало. И даже заметив, как усердно она стала красить лицо, он не испытал ничего, кроме гадливого чувства, от которого по телу пробежала дрожь, и сдержал визгливый смех. И тогда он решил не смотреть больше на нее, стал смотреть сквозь нее, молча, без единого слова, и потому не видел удивления на ее нарумяненном лице.

Шли дни, и он убедился, что такое безразличие очень полезно. Он мог теперь вежливо разговаривать с канцелярием, когда тот приходил к нему на дом, и понятия не иметь, о чем шла речь. Но иногда, прибегая к этому превосходному способу — так было однажды с регентом хора, — он видел на лицах людей странное выражение и, подумав, решил, что это ужас. А потом, в туманные осенние дни, когда огромный кусок парусины закрывал просвет под растущей башней, он убедился, что может заставить людей замолкать в любой миг, стоит ему только пожелать. Он просто говорил, как сказал отцу Безликому, который укорял его в том, что он не читает писем,

если они не касаются шпиля: «Мне надо на башню».

Несмотря на парусину, туман просачивался в собор, но этот туман был бессилен перед его волей. И перед немым юношей, который все тесал и скреб камень. «Право, — подумал Джослин, рассматривая вторую из четырех голов, которые ваялись заново, взамен сброшенных в яму, — право, мне кажется, лицо очень уж худое. И рот слишком широко раскрыт. И разве бывают такие большие глаза?» Но он не сказал ни слова, потому что любил своего сына во Христе, как и свою дочь во Христе; этот юноша не только спас ему жизнь, а стало быть, спас и его волю, которая поддерживает опоры, но смотрел на него преданно, по-собачьи, а вот Гуди никогда так не смотрела, даже если ему удавалось встретиться с нею лицом к лицу.

Она со своими рыжими волосами не давала ему покоя, но он теперь испытывал лишь сострадание к ее стыду и странную тревогу. В начале декабря все четыре головы, уже готовые, вместе с немым юношей были подняты на башню, где их ждали четыре ниши. С утра Джослин смотрел, как их поднимают, а Рэчел снова кружила возле него и трещала языком. Поскольку немного юноши не было рядом, им целиком завладели мысли о Гуди, брошенной Пэнголло. «Как мог я пренебречь ею? Ведь я ей нужен!» И при этой мысли она словно явилась на зов, быстрым шагом прошла вдоль стены, увидела его и сразу свернула в сторону, мимо опор, в галерею, все прибавляя и прибавляя шаг.

— Дитя мое...

Он подумал: «Я должен сделать это ради нее, пусть даже я на время отвлекусь от главного». И он быстро направился к галерее; она шла все тем же торопливым шагом и хотела прошмыгнуть мимо.

— Дитя мое!

Он вышел ей навстречу со смехом, хотя в душе была смутная досада, и расставил руки, преградив ей путь. Она прижалась к стене и отвернула голову. Волосы ее были скромно покрыты платком, она смотрела в сторону, и ему была видна лишь впалая щека.

— Дитя мое, я хотел сказать...

«Но что? Что я могу ей сказать? О чем спросить?»

А она уже молила его, подняв глаза:

— Отпустите меня, отец мой. Прошу вас, отпустите!

— Он вернется.

— Прошу вас!

— И потом... все эти годы... дитя мое, ты так мне дорога...

Он вдруг с ужасом увидел, как побелели и раздвинулись ее губы,

открывая оскал зубов. И еще он увидел, какими огромными, неподвижными, темными могут быть глаза, словно и они оскалены, как зубы. Поднятая корзина дрогнула у ее груди, и он едва расслышал шепот:

— Неужели и вы тоже...

Она бросилась прочь, плача и задыхаясь, проскользнула мимо него и бегом пустилась по темной галерее, а ее тяжелый плащ трепыхался, и юбки, развеваясь, приоткрыли щиколотки.

Он обхватил голову руками и сказал сердито, в совершенном недоумении:

— Что все это значит?

Чувствуя, что мысли о ней опутывают его, он отбросил их прочь, потому что они могли повредить делу. «Надо отринуть все ничтожное, — решил он. — Какова бы ни была цена, я пожертвую всем. И что толку думать об этой женщине, если все равно нельзя ей помочь? Я должен свершить великое дело. Дело! Дело!»

И тут ему пришла в голову такая прекрасная мысль, что он сразу понял — это наитие свыше, озарение. «Надо подняться над всяческой суетой!» И вслед за этой мыслью снова вырвался неприятный, визгливый смех. «Я вознесу свою пламенеющую волю на башню». Он взглянул на свою рясу и понял, что так лезть наверх нельзя, тогда он нагнулся, подхватил подол сзади, пропустил между ногами, скрутил жгутом и заткнул за пояс. Один из строителей, который встретился ему на нижней площадке, посторонился и постучал себя костяшками пальцев по лбу. А Джослин вдруг почувствовал легкость в голове. Наконец-то вокруг него сверкало солнце. Он упорно взбирался вверх; поднявшись в темный, неогороженный трифорий, он продолжал путь по винтовой лесенке, куда свет проникал лишь сквозь узкие, как стрельницы, окна, словно сделанные для лучников на случай осады. Лесенка кончилась, и теперь перед ним были бревна, недавно положенные над сводом. Дальше он поднимался по стремянкам, освещенным нижними окнами башни.

— Вот так! — воскликнул он. — Так!

Он почувствовал, как сердце колотится о ребра, и остановился передохнуть. Он присел на краю настила, словно ворон на скале. Строители, сновавшие вверх и вниз, поглядывали на него с любопытством, но молча. Он подвинулся на самый край и свесил ноги. Держась обеими руками за стойку, он наклонился и посмотрел вниз.

Устои, стены и окна башни уходили вниз и казались тонкими, едва способными выдержать собственный вес. Все сверкало чистотой и новизной. Восьмидесятифутовые проемы, по два в каждой из четырех стен,

помосты и стойки, стремянки и свежеструганные бревна блестели на солнце. И он ощутил пугающий восторг, как мальчишка, который впервые в жизни вопреки запретам взобрался на верхушку дерева. Голова у него кружилась, дух захватывало, но он, радуясь этому, все смотрел вниз, вниз сквозь глубины и бездны, на бесконечно далекий мир там, внизу. Пол был темный, как дно ямы, обесцвеченный глубиной и полумраком. Головокружение прошло, остались ясность мысли и восторг.

— Вот так!

«Наверное, нечто подобное испытывает птица, когда вольно порхает среди ветвей или парит в небе. Глядя на нас, она видит только головы и плечи, мы кажемся ей вот такими же серыми, ползучими, прикованными к земле». Едва подумав об этом, он увидел Рэчел, которая ползла по полу через средокрестие, словно ее вдруг извергла сама потревоженная земля. Он почувствовал себя свободным от нее, отвернулся и стал смотреть на стремянки, уходившие вверх. Потом он встал и снова начал подниматься, не стесняясь непристойной белизны своих оголенных ног. На высоте более двухсот футов она была пристойной. Он взбирался все выше и неотрывно глядел вверх, туда, где каменщики возводили кладку к самому небу. Шум работы теперь снова громко звучал вокруг него. Он остановился передохнуть подле ласточкина гнезда и увидел, что этот домик, висящий в углу башни, не меньше его спальни и свет проникает туда через незастекленное отверстие. Роджер Каменщик стоял, нацелив свой снаряд на камень у противоположной стены. Сияющий Джослин остановился около него на помосте в четыре доски и крикнул в восторге, покоренный высотой:

— Ты видишь, сын мой! Опоры не оседают!

Мастер отозвался угрюмо, не отнимая своего снаряда от глаза:

— Почему нам знать, что там творится? Может, у каждой опоры отдельный фундамент.

— Нет, Роджер, я же тебе объяснил. Они плавают!

Мастер сердито передернул плечами:

— Не кричите, я и так вас слышу.

— Роджер.

Он простер руку, но Роджер Каменщик отстранился, словно боясь прикосновения. Он отступил к самой стене и прижал свой инструмент к груди.

— Я вам давно сказал, отец мой... и сейчас повторю то же самое!

— Как ты можешь так говорить, Роджер, когда перед тобой чудо? Как ты не понимаешь этого? Здесь ты должен черпать силы, отсюда извлекать

уроки, смотреть, как чудо преображает все.

Они помолчали, глядя друг на друга, а наверху стучали молотки каменотесов, Роджер медленно скользнул взглядом по башмакам Джослина, по его белым ногам, туловищу, лицу. Потом они посмотрели друг другу в глаза, и мастер хмуро усмехнулся.

— Да, это верно, оно преобразило все.

Он повернулся, открыл дверь ласточкина гнезда, потом вдруг глянул через плечо и крикнул в ярости:

— Не видите разве, что вы наделали?

И исчез, так хлопнув дверью, что домик закачался.

Джослин посмотрел на стены.

— Я все знаю! Все! Я знаю, поверь!

Его вдруг захлестнула волна радости, и он со смехом шагнул к стремянке, а когда он взобрался по ней, то забыл и о Роджере, и о каменных плитах пола далеко внизу.

Потому что теперь перед ним был самый верх, здесь росла башня. Ее опоясывали подмости в три доски, на которых работали каменщики. Здесь почти не разговаривали. Каменщики склонялись над стеной, которая была им по колени и росла ступенчато, камень за камнем. В одном месте лишь первый ряд кладки поднимался над досками, но раствор уже лежал поверх тонким слоем, и рабочие подтаскивали следующий камень; в другом — и так по всем четырем стенам — над досками вообще не было кладки, а только деревянное кружало. Дуги арки уже почти сомкнулись, оставалось лишь отверстие для замкового камня; и он знал, что под аркой будут два окна, она соединит их плавным полукружьем, так что сквозные проемы станут частью общего целого, единого свершения. Подле каждого кружала он видел каменную голову, и эти головы безмолвно кричали и ликовали в поднебесье среди света. Немой юноша стоял на коленях подле одной из голов, что-то подправлял резцом — он поднял глаза и засмеялся безмолвно, как и голова, над бездонной пропастью. И Джослин почувствовал, что сам смеется от души, радуясь обновлению и чуду. Вслед за смехом пришла мысль, и он, забыв о своем достоинстве, крикнул немому:

— Здесь мы свободны от всяческой суеты!

И верный пес засмеялся в ответ, а потом снова склонился над своей работой.

Джослин слышал какой-то новый звук. Это не был человеческий голос, стук по камню или удары молотка. Звук был беспрестанный, не похожий ни на глухое бормотание, ни на звонкое пение камней. Джослин чутко прислушался и понял, что это ветер бьет о камни. Он опустил на

колени, потом сел, держась за стену, и стал слушать ветер. На время он обрел покой, и мысли свободно бродили в его голове, появлялись и исчезали сами собой.

Мир камня и дерева открылся ему во всей новизне. Там, внизу, стоял макет, такой тонкий и хрупкий, его ничего не стоило обхватить ладонями, и окна на нем были едва различимы; но здесь, наверху, тонкие, как бумага, стены обернулись каменными глыбами, а проволоочки внутри — толстенными бревнами, по которым свободно могут пройти двое. И вдруг Джослин понял, какая невероятная тяжесть чудесным образом повисла здесь, и, несмотря на его умиротворение, мир словно опрокинулся. «Надо быть поласковей с Роджером, — подумал он. — Эта тяжесть, о которой я раньше и не подозревал, все время давила на него. И к тому же у него нет веры».

Чтобы вернуть равновесие поколебленному миру, он снова сосредоточил мысли на макете, который стоял внизу, в темном нефе. Но едва он сосредоточился, как вместе со шпилем перед его глазами появилось то, чего он не хотел, что он отринул в тот самый день, когда поползла земля и запели камни. И он снова прислушался, затаив дыхание. Вот между коричневой и синей блузами мелькнул Пэнголл, один из рабочих, приплясывая, подкрадывается к нему, держась подальше от метлы, и шпиль бесстыдно торчит у него между ног. А потом упали, разметались рыжие волосы. И он почувствовал, что стискивает руками камень и глаза его зажмурены, рот разинут, а ребра давят, не дают дышать. В голове у него снова все смещалось. Он сказал невнятно: «Вот какой ценой... Мне следовало знать. И я не могу помолиться за них, потому что вся моя жизнь стала единой молитвой воли, вплавленной, влитой в камень.

Смилуйся! Или наставь меня».

Но ответа не было. Только ветер овеивал камни.

Джослин открыл глаза и понял, что смотрит не на башню, а на мир с ее высоты, потому что мир вдруг переменился. Он изогнулся чашей, которая была видна как на ладони, объемля голубыми краями всю ширь окоема. В удивлении и восторге Джослин ухватился за камень и, приподнявшись, встал на колени. «Вот что это такое — быть птицей», — подумал он, и, словно подтверждая его мысль, у самого его лица пролетел ворон, вперекор ветру, хрипло негодуя на людей, которые так нагло вторглись в его владения. А внизу — Джослин теперь отпустил камень и выпрямился, чтобы склоненные спины строителей не мешали смотреть, — были видны три реки, которые сливались у стен собора. Они стремили свое сверкание к башне, и места, такие далекие друг от друга, сопрягаемые лишь усилием

разума, поистине воссоединились. На северо-востоке Джослин видел три мельницы, три отдельных каскада, словно водяные ступени, но их связывала длинная лента воды, которая, змеясь, тянулась к собору. И река в самом деле текла под гору. Он видел новый каменный мост, белевший у Стилбери, видел даже монахинь на монастырском дворе, по меньшей мере двух, — хотя они были скрыты стеной, его взгляд как бы взламывал стену на расстоянии. Поняв это, он устремил взгляд на новый мост, прищурился и увидел цепочку навьюченных мулов, ослов, ломовых лошадей, разносчиков и нищих, крестьян с овощами, которые тащили свой товар к торговым рядам у дальнего конца моста. Значит, в Стилбери базарный день, а здесь, в городе, никто не торгует, он и раньше это знал, но теперь охватил все взглядом и видел воочию, что это именно так. Радость билась в нем как птица. «Я хотел бы, чтобы шпиль был высотой в тысячу футов, — подумал он, — тогда я мог бы видеть все окрест». Он дивился самому себе, но потом вспомнил, во имя кого будет возведен шпиль. И словно в ответ на свое удивление он почувствовал у себя за спиной ангела, который согревал его на холодном ветру. «Значит, это правда, истинная правда, ибо здесь, наверху, среди стука, звяканья и треска, здесь, возносясь к облакам, я весел, как поющий ребенок. Я и не знал, что способен испытать такое блаженство!» Он стоял на ветру и ждал, что блаженство отрешит его от суетных мыслей. Он разглядывал полосы и квадратики полей, покатые склоны, поднимавшиеся к лесистому, зубчатому хребту. Они были мягкие, теплые и гладкие, как юное тело.

Он опустил на колени, суровый, непоколебимый, закрыл глаза и стал молиться, осеняя себя крестным знамением. «Даже сюда, в горние Твои выси, я принес греховные помыслы. Ведь мир вовсе не таков, каким я его вижу. Земля — это скопище безносых, ощеренных скелетов; там виселицы, куда ни глянь, там дети рождаются среди крови и пахарь поливает борозду потом, там притоны, там пьяные валяются в канавах. И нет ничего благого во всей этой юдоли, кроме великого дома, ковчега, прибежища, корабля, который один может спасти всех этих людей, и отныне у него будет мачта. Прости меня».

Он открыл глаза, встал, почувствовал, что блаженство вдруг покинуло его, и попытался понять, куда же оно исчезло, глядя в небо, в немыслимую высоту, куда вознесется верхняя часть башни и шпиль. Огромная птица парила там на распростертых крыльях, и он, вспомнив евангелиста Иоанна, сказал громко:

— Это орел.

Но немой юноша, который подправлял каменный рот, тоже поглядел

вверх, улыбнулся и покачал головой. Джослин подошел к нему по доскам, наклонился и потянул за курчавые волосы.

— Ну что ж. А для меня это все-таки орел.

Но немой уже снова принялся за работу.

У ближней гряды из земли вставали бугры и холмики, словно там по волшебству вырастали кусты. Они тянулись кверху и прямо на глазах оживали, превращались в людей. А за ними другие бугры превращались в лошадей, жеребых ослиц, навьюченных корзинами, — это был целый караван. Путники перевалили через хребет, синевший вдаль, и миновали ближнюю гряду. Они теперь спускались по склону прямо к глазу Джослина, к башне, к собору, к городу. Они не взяли западнее, в обход Холодной бухты, по тропе, выбитой копытами за долгие годы. Они берегли время, не щадя сил. И ему вдруг открылось, что другие ноги протопчут прямую как стрела дорогу к городу, он понял, что башня овладела всей округой, преобразила ее и господствует над ней, одним своим существованием изменяя лик земли повсюду, откуда она видна. Он окинул взглядом горизонт и убедился, сколь истинным было его видение. Повсюду возникали новые дороги, люди кучками прокладывали себе путь меж кустов и вереска. Округа покорно обретала иной вид. Вскоре город, подняв кверху огромный палец, будет похож на ступицу колеса, появление которого предопределено, непреложно. Новая улица, Новая гостиница, Новая пристань. Новый мост, и вот по новым дорогам уже идут новые люди.

«Мне казалось, это будет просто. Мне казалось, шпиль завершит каменную Библию, станет каменным Апокалипсисом. В своем безумии я и не подозревал, что с каждым шагом мне будет дан новый урок и новая сила. И некому было наставить меня. Я должен был строить, повинаясь лишь своей вере, не слушая ничьих советов. Другого пути не было. Но при этом люди притупляются, как плохой резец, или срываются, как топор с топорница. Я слишком был поглощен своим видением, чтобы принять это в расчет, и, кроме видения, не нуждался ни в чем».

Он поглядел вниз, на узенький прямоугольник Пэнголлова царства, где кучи камней уже изрядно поредел; ему был виден маленький квадрат двора между аркадами. Он разглядел даже белые шашки, которые мальчики из певческой школы оставили на парапете. Он взглянул на дома, обступавшие собор. За красными островерхими крышами он увидел задние дворы, где пятнышками шевелились коровы и свиньи. Какой-то старик добрел до отхожего места и, уверенный, что за оградой его никто не видит, оставил дверь настежь. А через три дома женщина — белый кружок

поменьше и коричневый побольше — готовилась разносить по домам свой товар. На дворе, у ограды, стояли два деревянных ведра и лежало коромысло. Прищурившись, Джослин разглядел, что в ведрах молоко, и, увидев, как она долила в ведра воды, он невесело улыбнулся. Она подняла ведра, островерхая крыша скрыла ее, а потом она появилась уже на улице и перешла на другую сторону, обходя пьяного, который валялся в канаве, слабо дергая рукой, а над ним, задрав лапу, стояла собака.

— Слизняк.

Он вздрогнул и обернулся. Но Роджер Каменщик смотрел не на пьяного. Он смотрел на юго-восток, в сторону невидимого отсюда моря.

— Гнида.

За семью сверкающими излучинами на берегу реки стояла кучка домов.

— Что ты там увидел, Роджер?

— Поглядите на этого ворюгу! Он сейчас засядет в «Трех бочках». А барка с камнем, который нам позарез нужен, простоит всю ночь и весь завтрашний день, покуда он не накачается вином. Ему плевать, что мы будем сидеть без дела!

— Сын мой...

Мастер закричал на него:

— Да мне-то что! И вам горя мало! Все равно ваша взяла!

Сразу стало тихо. Тишина была оглушительная, как после удара грома. Строители подняли головы. Ни стука, ни скрежета.

— Спокойно, Роджер. Спокойно.

— Спокойно! Да я...

Роджер закрыл лицо руками. И не отнимая их, отрывисто бросил:

— Эй, вы! Работать!

Стук сразу возобновился. Роджер опустил руки, но не смотрел на Джослина. Он отошел, не сказал больше ни слова и тяжело, по-медвежьи косялапо стал спускаться вниз.

Джослин проводил его взглядом, и в голову ему пришла новая мысль. «Я боюсь спуститься, — подумал он. — Мне бы остаться здесь на всю жизнь. Но делать нечего, надо спускаться, никто не может вечно жить среди орлов». И он заставил себя пройти по стремянкам, мимо ласточкина гнезда, с одной подмости на другую, а потом по темной внутрискатной лестнице, в серый, плотный сумрак у опор. Ему надо было поговорить с мастером, но Рэчел вклинилась между ними, ее болтовня так и лезла в уши: ах, милорд теперь гораздо лучше выглядит, эти упражнения ему на пользу, как бы она хотела, ах, как бы хотела быть с Роджером на самом верху, но

высота для нее страшной чистилища — и ее накрашенное лицо дергалось, и все тело дергалось под напором слов, — вот и приходится торчать тут, среди мусора, а Пэнголл — настоящий преступник, забыл свой долг, мужчины все таковы, впрочем, нет, конечно, не все, есть и хорошие, она знает, но этот сбежал неизвестно куда, и о нем ни слуху ни духу, бросил Гуди, а она, на беду, наконец ждет ребенка, бедняжка, такая милая, славная, а он ее бросил...

Ярость захлестнула Джослина, отчаянная злоба на пьяницу, который валялся в канаве, и на второго пропойцу, который торчал в «Трех бочках». Он крикнул Роджеру, который стоял отвернувшись:

— Сын мой! Данною мне властью я приказываю тебе: пошли человека на хорошей лошади в «Три бочки». Вели ему захватить с собой хлыст и в случае нужды пустить его в ход!

Он шел через неф, прочь от мусора и болтовни, шел, и по щекам его катились слезы. «Сколь ужасны уроки, которые мне дано извлечь, — думал он, — сколь огромна высота, и власть, и цена...»

У двери он овладел собой. Повернувшись к престолу, он сказал хрипло:

— О Господи, Ты приклонил ухо Твое к моим молитвам. И на глазах у меня слезы радости, потому что Ты вспомнил рабу Твою.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Когда он снова поднялся на башню, головы, изливающие из ртов осанну, уже были вмурованы над каждым окном. Он перегнулся через край кладки и увидел их сверху: волосы разметаны, носы торчат, как клювы. Головы кричали, взывая к новым дорогам, которые обозначались по склонам холмов, и не замечали птиц, маравших их беловатыми подтеками. Заглянув внутрь башни, он увидел, как перестроили свод — там теперь осталось лишь круглое отверстие, сквозь которое глаза с трудом нащупывали пол, совсем смутный, почти невидимый. Через отверстие торчком втаскивали бревна, и люди подхватывали их наверху. Он и сам испытал — или, вернее, увидел со стороны, оттиснутый в угол, — некое безумие, насыщенное скрежетом, грохотом и криками, когда бревна укладывали там, где они должны были образовать второе перекрытие. Ведь башне предстояло подняться еще на восемьдесят футов, и там опять будут окна и головы, изливающие из рта осанну, и опять подмости и стремянки, и при мысли об этом у него захватывало дух; так было по крайней мере здесь, наверху, где эта громада повисла в воздухе на высоте птичьего полета, и сердце трепетало при виде каменных четвериков, становившихся все меньше, а потом завершавшихся круглым отверстием, которое было дном и вершиной.

И, чувствуя в себе всепоглощающую, неколебимую волю, он знал, что великое дело благословенно. В декабре настали странные дни, когда в храм ни разу не заглянуло солнце и неф был похож на пещеру. В эти дни он приходил в темный храм и не мог приняться ни за какое занятие, только носил в себе свою волю, зная, что в конце концов все будет хорошо, хотя нижний ярус башни и растущий над ним верхний ярус тяжким гнетом давили на него, распирали голову. И он спешил наверх, как ребенок, который тянется к матери. Но о матери он не вспоминал. А если вспоминал, тотчас же Гуди со своими рыжими волосами врывалась в его мысли и исторгала слезы из глаз.

В один из таких дней он шел от своего дома к собору, едва видя собственные ноги в тумане; и хотя в неф туман не проникал, там царил почти непроглядная темнота. Он стал подниматься наверх, взобрался по винтовой лестнице до первого перекрытия и окунулся в яркий свет. Здесь, наверху, сияло солнце, но лучи, пронзавшие башню, меркли перед тем светом, который сверкал выше, озаряя свинец, стекло, камень и бревна

перекрытия, так что видны были даже следы топора. Когда он поднялся сквозь это лучистое сияние по стремянкам и подмостям туда, где работали люди, чьи руки казались голубыми, на самый верх башни, к ее неровной оконечности, его ослепило по-настоящему, до боли, и он невольно закрыл глаза руками. Вокруг видны были только вершины холмов, ничего больше. Туман сияющей, искристой пеленой покрыл долину и город, и, хотя пелену эту еще не пронзал шпиль, ее уже пронзала башня. И Джослин почувствовал странное успокоение, в эту минуту в душе его царил почти ничем не омраченный мир.

Но порой туман затоплял даже башню. И тогда работа еле шла или прекращалась вовсе, и он вынужден был оставаться внизу и платить всю цену сполна. Армия работала под навесами и в сараях, словно под скалами на морском дне. Там плотничали. Под навесом, у пролома, рубили восьмиугольные венцы, и каждый верхний венец делали поменьше нижнего. Эти венцы поднимались выше человеческого роста. Потом плотники ставили на каждом бревне какую-то метку и снова все разбирали, а Роджер Каменщик в мрачной задумчивости рассматривал решетчатый деревянный макет, похожий на колпак. К Роджеру редко кто подходил, строители сторонились его. Он стал слишком угрюм, слишком груб, слишком часто давал волю своему бешенству, а потом уходил, и одна только Рэчел шла за ним следом, осунувшаяся, накрашенная Рэчел, которая трещала без умолку и кружила возле него. Джослин испытывал сострадание к этому рабу великого дела и удрученно смотрел, как он взбирается по лесам, медленно, упорно, или стоит, тщательно нацеливая свой снаряд то вверх, то вниз, или прислушивается у опор.

А там почти всегда можно было что-нибудь услышать. В конце декабря камни снова начали петь. Они пели не непрерывно; иногда по целым неделям кряду ничто не мешало богослужениям в капелле Пресвятой девы. Но потом люди начинали ощущать какое-то смутное беспокойство, старались понять, в чем дело, и решали, что воздух слишком сух или слишком холоден, но в конце концов они чувствовали по иголке в каждом ухе, и дыхание перехватывало без всякой причины. А потом вдруг иголки становились звуком, и тогда из груди вырывались тяжкие вздохи и в душу заползали ожесточение и страх. Горожане и проезжие толпились у западной двери, внимая чуду — грозному пению камней, но теперь никто не заходил в собор, как раньше. Строители, заслышав это пение, бросали работу и переглядывались, потом снова брались за дело. Теперь они редко смеялись. Один лишь Джослин, распятый на кресте своей воли, с улыбкой говорил, почувствовав иголки в ушах:

— Это пройдет.

Но с приближением весны, по мере того как ростки тянулись к земной поверхности, а башня — к небу, камни стали петь чаще.

И в это самое время Джослин узнал о Роджере нечто новое. Он пристально следил за мастером, оценивая свое оружие, считал каждый его шаг по стремянкам, ждал того мгновения, когда оружие притупится и надо будет снова его наточить или покрепче загнать клин в рукоятку; и все-таки, сколько Джослин ни приглядывался, он ничего не мог рассмотреть под знакомой внешностью и привычными движениями Роджера. Но однажды он глядел вниз сквозь отверстие в своде, а Роджер в это время поднимался на башню; и Джослин с удивлением понял, что мастер боится высоты не меньше Рэчел. Он боялся, но преодолевал страх. Высота была неотделима от его работы, она была его жизнью, но она, видно, никогда не доставляла ему радости, как Джослину, он не знал ликования, от которого захватывает дух, когда под ногами только шаткая доска и уже не слышно пения камней, а доска дрожит и колеблется над пустотой. И теперь, поняв это, Джослин с состраданием смотрел, как Роджер поднимается вверх. Он двигался размеренно, неторопливо, без той небрежности, которой щеголяли иные из его помощников, и всегда смотрел прямо перед собой; Джослин видел все до самого пола, где над ямой стлался полумрак, и понимал, почему Роджер держится поближе к стене, а не посреди стремянки. Мелкий дождик, подхлестываемый ветром, окроплял непокрытую голову Джослина, но он стоял, поджидая Роджера, и, когда его голова и плечи поднялись над верхним настилом, Джослин явственно увидел, что они опутаны сетью.

— Отчего ты боишься, сын мой?

Мастер стоял перед ним, тяжело дыша. Он ухватился одной рукой за поручень.

— Они опять поют.

— Ну и что? Так было уже не раз, а потом все кончалось.

Джослин поднял голову и сквозь завесу дождя посмотрел вверх.

— Роджер, знаешь, о чем я думал? Крест... тот, что будет вон там, наверху...

— Да.

— Ведь он будет выше человеческого роста, верно? А на макете он такой крошечный, его мог бы носить на шее ребенок.

Мастер закрыл глаза и скрипнул зубами. Он застонал.

— Что с тобой, Роджер? Говори, я тебя слушаю.

Мастер посмотрел на Джослина, стоявшего перед ним на фоне неба, и пробормотал хрипло:

- Смилуйтесь.
- Опять?
- Преподобный отец...
- Ну?
- Я не могу больше...

Джослин улыбался, но теперь улыбка застыла у него на лице, как маска. Мастер протянул к нему свободную руку.

- Их ослепил блеск того, что вы... что мы...

Он отвернулся, облокотился на поручни и закрыл лицо ладонями; голос его был теперь едва слышен.

- Прошу вас, смилуйтесь.
- Кроме тебя, некому это сделать.

Мастер помолчал, не отнимая рук от лица. Потом он заговорил, но так и не поднял головы:

— Я попробую рассказать вам, в чем для меня загвоздка. Камни поют. Я не знаю почему и могу только догадываться. Понимаете, в этом моя беда. Я только и делаю, что строю догадки. Я ведь ничего не знаю. Не то что вы... — Он искоса взглянул на Джослина. — Не то что вы, когда говорите проповедь. Понимаете?

- Разумеется, понимаю.

— Да, мы вынуждены гадать. Мы решаем, что вот это или вон то выдержит, но, покуда нет всей нагрузки, не можем сказать наверняка. И даже ветер, тот самый ветер, который сейчас едва шевелит волосы у вас на голове...

Он со злобой посмотрел на Джослина.

— Отец мой, есть у вас снасть, которой можно измерить напор ветра? Дайте мне ее, тогда я скажу, что устоит, а что обрушится.

- Но ведь опоры не оседают. Я же тебе говорил...

- Они запели.

- Разве ты не знал, что камни поют?

— Никогда! Здесь для нас все внове. Вот и приходится гадать и строить дальше.

Он запрокинул голову на мощной шее и посмотрел в небо.

— А еще этот шпиль, сто пятьдесят футов. Отец мой... я не могу больше.

В голове Джослина уверенно заговорила воля. Он услышал ее голос.

— Я понимаю тебя, сын мой. Ты по-прежнему не осмеливаешься дерзать. Объяснить тебе, в чем смысл нашей жизни? Подумай о мотыльке, который живет один только день. А вот тот ворон кое-что знает о

вчерашнем и позавчерашнем дне. Ворон знает, что такое восход солнца. Быть может, он знает, что завтра солнце взойдет снова. А мотылек не знает. Ни один мотылек не знает, что такое восход! Вот так и мы с тобой! Нет, Роджер, я не собираюсь читать тебе проповедь о том, сколь кратка наша земная жизнь. Мы знаем, что она непереносимо длинна, и тем не менее ее надо перенести. Но в нашей жизни есть смысл, потому что мы оба — избранные. Мы как мотыльки. Мы не знаем, что нас ждет, когда поднимаемся вверх, фут за футом. Но мы должны прожить свой день с утра до вечера, прожить каждую его минуту, открывая что-то новое.

Роджер смотрел на него в упор, облизывая губы.

— Нет. Я не понимаю, о чем вы тут толкуете. Но я знаю, каков будет вес шпиля, а какова будет его прочность — не знаю. Поглядите вниз, отец мой, вдоль окон и зубцов, вниз, до самой верхушки кедра, что растет во дворе.

— Я гляжу.

— Пускай взгляд ваш ползет вниз, как насекомое, фут за футом. Вы думаете, что стены прочны, потому что они каменные, но я-то знаю... Это всего лишь кожа из стекла и камня, распяленная на четырех каменных ребрах, по одному в каждом углу. Понимаете? Камень меж устоями не прочнее стекла, потому что на каждом дюйме я должен выгадывать прочность за счет веса или вес за счет прочности, ломать себе голову, прикидывать, отмеривать, взвешивать, и при одной мысли об этом у меня заходится сердце. Смотрите вниз, отец мой. Не на меня — вниз! Видите, как скреплены устои? Я скрепил камни, но не в моих силах сделать их прочней, чем они есть. Камень ломается, трескается, крошится. Но хотя опоры поют, есть надежда, что, если на этом остановиться, они выдержат. Я могу настлать крышу и, пожалуй, поставить флюгер, который будет виден за много миль.

Джослин замер, насторожился.

— Говори, сын мой.

— А построить шпиль попросту невозможно! Отец мой, верьте мне, уразуметь это можно только здесь, на такой высоте. Ведь это будет каменная кожа на каменных костях. А внутри сруб из таких вот восьмиугольных венцов, каждый верхний поменьше нижнего. Но не забудьте про ветер, отец мой! Мне нужно скрепить венцы и подвесить их на каменном яблоке, чтобы они своей тяжестью натягивали кожу. Тяжесть, тяжесть и тяжесть! Она все растет, все сильнее давит на устои, на тонкую кожу стен, на поющие опоры...

Он коснулся рукава Джослина.

— Но и это еще не все. Как бы я ни старался, шпиль не будет давить отвесно. Он будет давить на эти четыре устоя и распиравать их. Чтобы их укрепить, я мог бы, должен был бы поставить над каждым устоем башенки, но их нельзя поднять до нужной высоты, потому что это — лишняя тяжесть. Где та черта, которую мне нельзя переступить, не пожертвовав одним ради другого? Да, можно установить первый венец, и второй, и даже третий... — Он судорожно сжал руку Джослина. — Но рано или поздно мы услышим новый звук. Отец мой, смотрите вниз! Рано или поздно мы услышим удар, грохот, рев. Эти четыре устоя раздвинутся, как лепестки цветка, и все, что здесь есть: камень, дерево, железо, стекло, люди, — все рухнет сверху прямо в собор, как горная лавина.

Он снова умолк. Потом послышался его шепот:

— Говорю вам... все прочее в моем ремесле сомнительно, но это несомненно. Я знаю. Я уже видел, как рухнуло здание.

Джослин стоял, закрыв глаза. В голове у него все выше и выше громоздились венцы из дубовых бревен и каждое бревно было толщиной в фут. Он стиснул зубы, и на миг ему показалось, что камни под ним шевелятся, шатаются из стороны в сторону. Колпак высотой в полтора фута затрещал, стал с грохотом расползаться и рушиться, среди пыли и дыма, все быстрее и быстрее, взметая пламя и искры, падал, сокрушая неф, и каменные плиты пола прыгали как щепки, пока развалины не погребли их под собой. Он ощутил все это так ясно, словно сам рухнул вместе с устоем, который навис над аркадой, согнувшись коленом, и разнес книгохранилище, словно гигантский цеп. Он открыл глаза — от стремительного падения его мутило. Он цеплялся за стену, а аркада внизу ходила ходуном.

— Что же нам делать?

— Остановиться.

Этот ответ был неизбежен, и, прежде чем прошла тошнота и аркада утвердилось на месте, Джослин своим настороженным нутром понял, как ловко мастер подвел его к такому ответу.

— Нет, нет, нет, нет.

Он бормотал это, качая головой, и постепенно понял все. Он понял, что приговор вынесен бесповоротно, что последнее средство, разговор на языке строителей, эта загвоздка, о которой ему ничего не сказали на земле, заставив с коварным умыслом подняться сюда, на башню, — это последнее средство наконец пущено в ход, словно рычаг повернулся на оси и привел в действие колесо головокружения; все было задумано так, чтобы в один миг сломить его волю.

— Нет!

Теперь голос его наконец прозвучал уверенно. Это был ответ клинком на клинок, бряцание стали.

— Роджер, говорю тебе: это можно исполнить!

Мастер в ярости отпрянул и остановился в углу башни, спиной к Джослину. Он смотрел сквозь дождь невидящим взглядом.

— Слушай, Роджер.

«Что сказать? Каких-нибудь десять минут назад я что-то говорил о мотыльках, но уже ничего не помню. Пусть же с ним говорит моя воля».

— Ты хотел запугать меня, как пугают ребенка привидениями. И все старательно рассчитал, ведь так? Но ты сам знаешь, что тебе не уйти. Не уйти. Не убежать. Твой сильный, пытливый ум все время искал пути, чтобы преодолеть невозможное. И ты нашел путь, потому что в этом твое назначение. Ты не знаешь, правильно ли это решение, и не находишь другого. И боишься. Все лучшее в тебе готово дерзать, а худшее хнычет и скулит.

Он подошел к Роджеру вплотную, остановился за его широкой спиной и сказал в дождь, в пустоту:

— Я открою тебе то, чего никому не дано знать. Наверное, люди считают меня сумасшедшим. Что ж, пускай. Они узнают это потом, когда я... Но ты услышишь сейчас, я скажу тебе это с глазу на глаз, здесь, на недостроенной башне, где мы одни, без соглядатаев и свидетелей. Сын мой. Наш собор — это чертеж молитвы. А шпиль — чертеж той из молитв, которая вознесется превыше всех прочих. Господь открыл это мне. Он явил видение недостойному служителю своему. Он избрал меня. И тебя Он тоже избрал, дабы ты претворил чертеж в стекло, железо и камень, потому что сынам человеческим нужно видеть это воочию. И ты еще надеешься уйти? Ты не в моих сетях — поверь, Роджер, я понимаю, как это тяжело, мучительно невыносимо, но ты не в моих сетях. Это Его сети. Ни я, ни ты не можем отринуть великое дело. Но и это еще не все. Теперь я вижу, нам не дано понять все до конца, потому что каждый новый фут открывает новую сущность, новую цель. На твой взгляд, шпиль — это нелепость. Он пугает и лишен смысла. Но с каких пор избранники божий взыскуют смысла? Шпиль называют Джослиновым безумством, верно?

— Да, так я слышал.

— Но сеть не моя, Роджер, и замысел, который считают безумным, тоже не мой. Это Божий замысел. От века Бог не подвигал людей на дела, согласные со смыслом. Это Он предоставил им самим. Пускай покупают и продают, исцеляют и владеют. Но вот из сокровеннейших глубин

доносится глас, который повелевает содеять нечто совершенно бессмысленное: построить корабль на суше, воссесть на гноище, жениться на блуднице, возложить сына на жертвенный алтарь. И тогда, если у людей есть вера, рождается нечто новое.

Он замолчал, глядя в спину Роджеру под колючим дождем. «Это был мой голос, — подумал он. — Или нет. Не мой. То был голос всепоглощающей воли, моей владычицы».

— Роджер.

— Да?

— Ты достроишь шпиль. Ты думаешь, это дело твоих рук, но ты заблуждаешься. Ты думаешь, что твой ум работает, упорно ищет выхода, а потом втайне гордится успехом. Но и тут ты заблуждаешься. И не от меня исходят слова, которые сейчас произносят мои уста.

Вновь наступило молчание; и Джослин почувствовал, что они уже не одни, что ангел стоит под холодным дождем у него за спиной и согревает его.

Мастер сказал безучастно и покорно:

— Сталь. Может быть, сталь выдержит. Я не уверен. Попробуем опоясать башню стальной лентой и связать камни. Но я не знаю... В нашем деле никто еще не употреблял столько стали. Нет, я ничего не знаю. И потом, это будет стоить денег, много денег.

— О деньгах не беспокойся.

Джослин протянул руку и почти робко коснулся плеча мастера.

— Роджер... Поверь, Он никогда не бывает бессмысленно жесток. В случае нужды Он даже посылает слабым утешителя, который стоит у них за спиной! Он согревает их под ветром и дождем. А ты нужен. Подумай, как тяжело бывает резцу, который много часов подряд вколачивают, вонзают в твердое дерево. Зато потом его смажут, обернут тряпицей и положат на место. Хороший мастер никогда не пустит в ход орудие, непригодное для дела. Он бережет свой инструмент.

Он помолчал, задумавшись. «Кажется, это я не только о нем говорю, но и о себе. Раньше была радость. Но как странно — ее больше нет. Я жажду лишь покоя».

— И когда ты завершишь это, когда шпиль вознесется вот здесь, у всех на виду, — тогда сеть, быть может, порвется.

Мастер пробормотал:

— Ничего не пойму...

— Но надо строить быстрее, как можно быстрее! Иначе над тобой восторжествует зло, и сеть не порвется никогда...

Мастер повернулся к нему, еще ниже опустив голову.

— Оставьте свои проповеди при себе!

— ...а я не хочу этого, потому что каждый из вас стал дорог моему сердцу... и ты, и другие... в вас теперь моя жизнь.

— О чем это вы?

«О чем я? — подумал он. — Кажется, о Гуди и о Рэчел — надо поговорить с ней вот так, как я сейчас говорил с ним, или нет, не я говорил с ним, а сама воля».

Он многозначительно кивнул мастеру.

— Мне пора, Роджер. Меня призывают дела.

Он начал спускаться вниз, и ангел не покидал его. Он слышал, как Роджер прошептал:

— Дьявол, вот ты кто. Сам дьявол.

А потом голоса Роджера не стало слышно, и опоры снова пели, и, спустившись в неф, он из-за этого пения забыл, что собирался сделать.

Почти целый месяц башня не росла вверх, но зато вокруг нее появилась целая рощица мелких башенок — всего их было двенадцать, по три с каждого угла, одна высокая и две пониже. Роджер Каменщик реже бывал наверху, поручив надзирать за работой Джеану, который весело покрикивал на строителей и сыпал шутками. Джослину пришлось заняться своими пастырскими обязанностями, но все дела были запутаны, и наверстать упущенное он не мог. А Роджер теперь почти все время проводил внизу, толковал с кузнецами, и Рэчел тут же перетолковывала каждое его слово. Из-за этого Джослин не мог к ним подступить; на башне было тесно, и он наблюдал ход работы лишь урывками, снизу, вытянув шею. Он видел, как на высоте двухсот пятидесяти футов Джеан весело отдавал беззвучные команды, и каменщики делали борозды, чтобы стальная лента, которая обовьет стены, плотно прилегла к камню. В тех редких случаях, когда Джослин оказывался среди леса башенок на верху главной башни, он видел, как оживает длинный сарай у реки. Оттуда шел дым. С утра и до самой полуночи там, словно разноголосые колокола, били молоты; а когда темнело, он видел в реке отражения огней. Внутри башни в обоих перекрытиях оставались лишь узкие отверстия. По мере того как росли башенки, строители убирали ненужные леса. Они выдернули из стен крепления и почти все отверстия забили камнем. Оставшиеся дыры с бесстрастным интересом разглядывали голуби и вороны. Вскоре посреди башни висели только канаты да по стенам крутыми зигзагами поднимались стремянки. Из подсобных построек осталось лишь ласточкино гнездо, где каменщики держали свои инструменты, а мастер — измерительные

приспособления; но, поскольку вскоре предстояло настлать просторную площадку в основании шпиля, эту будку тоже было решено убрать. Леса остались лишь на самом верху башни, похожие на растрепанные волосы или на аистово гнездо над невероятными, высотой в восемьдесят футов проемами окон.

А потом было бурное собрание капитула, где известие о новых расходах встретили сначала недоверчиво, а потом с негодованием. Под конец Джослина вдруг осенило, что надо просто пустить в ход свою личную печать, и, придя к себе, он сделал это без дальнейших пререканий. Но после мучительной тяжести, испытанной в этот день, к нему вернулся визгливый смех; и ангел, хоть и был для него благословением, страшно его изнурял; собственная воля его ослабла, он утратил власть над мыслями и видениями, которые всплывали в голове — шпиль, рыжие волосы, волчий вой, — и его потянуло на башню, где он странным образом обретал умиротворение. Он вышел во двор и вдруг заметил, что там совсем тихо, словно весь мир затаил дыхание, потому что стук под навесом смолк. Он вошел в неф и, хотя был перерыв между богослужениями, услышал негромкий звук; это пели опоры: «и-и-и-и-и», — словно тяжесть стала для них невыносимой. Медленно, неслышно он поднялся по винтовой лестнице туда, где среди башенок его ждали умиротворение и радость. Он двигался бесшумно, как призрак, и, когда поднялся по стремянке до середины башни, услышал стон. Этот стон заставил его остановиться, занеся ногу на ступеньку, сжимая поручни и сгорбившись под бременем ангела. Это был стон попавшего в капкан зверя, беспомощной косули, которая уже и не пытается вырваться, а лишь стенает в смертной тоске. Он повернул голову к ласточкину гнезду. Под крышей было оконце с поперечиной, не очищенной от коры. Но не кора бросилась ему в глаза. Чья-то рука стискивала поперечину, и Джослин, видевший много раз, как она касалась камня, или дерева, или нацеливала металлический снаряд, или сжималась в кулак от злобы, или простиралась в отчаянье, знал эту смуглую, поросшую рыжеватыми волосами руку, как свою собственную, бледную и бескровную. Но едва он увидел ее и узнал грязновато-белые костяшки пальцев, не успев еще осознать, чья она — эта рука, так судорожно стиснувшая дерево, — другая рука, меньше, белей и нежней, скользнула сверху и крепко ее сжала.

Он стоял на стремянке, разинув рот, не двигаясь, не мигая, и тут он услышал голос, тот самый, что звучал как стон, голос молящий, по-детски наивный и нежный:

— Но ведь я-то не смеялась, правда?

Жесткие пальцы выпустили дерево, и руки сплелись, исчезли: а потом другой, еще более знакомый голос прозвучал с мучительным трудом, словно поднялся с самого дна ямы из-под серого каменного пола...

— О Господи!

Джослин быстро попятился, спустился со стремянки, все так же, с разинутым ртом. Теперь он стоял у стропил, опустив голову и зажав уши. Он раскачивался из стороны в сторону и бессмысленно шарил взглядом вокруг. Потом ощупью нашел винтовую лесенку, спотыкаясь, начал спускаться, и в темноте перед его немигающими глазами вихрем понеслись воспоминания: вот девочка в зеленом платье бежит по двору, но, увидев милорда настоятеля, своего духовного отца, благовоспитанно замедляет шаг, и вот он уже обратил внимание на ее застенчивую улыбку и веселую детскую песенку, сперва лишь благосклонно, а потом стал ждать ее, да, ждать, искать ее, любоваться ею, ощущая теплоту на сердце, восхищенный ее ангельской душой, и тогда он устроил ее брак с хромым, и ее рыжие волосы покрыл платок, а потом — этот шатер...

«Нет, нет, о Господи!»

Вот она, цена камня и бревен.

Наконец он спустился вниз, к поющим опорам, а там кружила Рэчел, она бросилась к нему бегом, и он визгливо засмеялся.

— Роджера нет ни в кузне, ни у плотников, может быть, он на башне или на подмостях, ведь он устал, и ему надо поесть...

Не умолкая, она шла за ним через весь неф, и так они вышли во двор, где уже темнело. У двери он обернулся и благословил ее, потому что ее боль была сродни его боли; а она стояла под гнетущей сенью исповедников, мучеников, святых, и ее красное непристойное платье колыхалось на коренастом теле, и теперь она молчала, зажав ладонью рот, и вытаращенные глаза смотрели с постаревшего накрашенного лица тоскливым, тяжелым взглядом. Он ушел к себе и встал на колени, и рот его все еще был раскрыт, и глаза все еще раскрыты и устремлены в пустоту.

А на другой вечер ласточкино гнездо убрали.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Он ушел к себе и встал на молитву, но даже молитва его была теперь иной. Он весь съежился в крошечный серый комочек, трепещущий, терзаемый страхом, а когда возводил глаза кверху, где всегда обретал поддержку, там сверкал каскад рыжих спутанных волос, и он, ссутулясь, опускал голову. Он говорил себе: «Я должен все это принести в жертву!» А потом оказывалось, что в голове у него безмолвно помимо его воли встает только один вопрос: «Ради чего?» Когда он заставлял себя забыть о рыжих волосах, ему удавалось на время обрести некоторую свободу, но потом эти волосы, как будто возвращенные какой-то силой, снова повисали перед ним и колыхались, ослепительные, неотступные, и она сама появлялась снова, в рваном платье, с зелеными лентами, и смотрела черными впадинами глаз. Он вскакивал и шел, сам не зная куда. Иногда он, захлебываясь, твердил: «Работать! Работать!» — и донимал расспросами людей, занятых делом, но тотчас вспоминал, что они об этом ничего не знают. Однажды, когда он вошел в пустой собор и стоял у двери, а в душе у него бушевала буря, он увидел ее: она шла по нефу тяжело, неловко, потому что ждала ребенка, и он почувствовал в душе нежную любовь и вместе с тем жадное любопытство, слюнявое желание узнать: как, где, когда, сколько? Слова, прозвучавшие в ласточкином гнезде, лишили его уверенности, повергли в хаос, где они вчетвером сочетались каким-то сатанинским браком. Когда вихрь на миг улегся в душе и Джослин пришел в себя, он понял, что громко кричал, так как в длинном каменном нефе еще отдавалось эхо, но не мог вспомнить слов.

«Надо пойти к ней, — подумал он, — надо спасти то, что еще можно спасти». Но, едва подумав это, он сразу почувствовал жадное любопытство, засевшее в нем, как проказа, и понял, что если застанет ее одну, то будет только спрашивать, доискиваться, выпытывать, сам не зная для чего. И вдруг он словно увидел себя со стороны: высокий, изможденный, в длинной рясе, он стоял у двери, уставившись на деревянную перегородку и стиснув руки. Он полез на опустевшую башню, и, когда поднимался мимо того места, где висело ласточкино гнездо, у него захватило дыхание и сердце сжалось от боли. Он заставил себя взглянуть с башни на мир, где люди занимались своими непостижимыми для него делами, и увидел, что многие из них бросили все дела. Башня, возвышавшаяся среди леса маленьких башенок, притягивала их. В устьях улиц, стекавшихся к собору,

никогда не было пусто. Там толпились, глядя вверх, мужчины и женщины, и лица их с высоты казались смутными пятнами. Когда одни уходили, на их месте тотчас появлялись другие. Это был бесконечный, неиссякаемый поток; Джослин почувствовал нестерпимую горечь и сказал в пустоту, где гулял ветер:

— Что вы знаете обо всем этом?

Башня была недвижна и безразлична. Он оглядел каменный лес, выросший вокруг того места, где должен был вознестись шпиль. «Это совсем не похоже на макет, — подумал он, — и на мое видение, но мы делаем все, что в наших силах. Быть может, это чертеж безумства, о котором они не знают».

И он крикнул:

— Работать! Работать! Работать! Почему никого нет?

Он бросился вниз искать мастера, и, пока он спускался с башни, озлобление перешло в неудержимую ярость. Но мастер не бездействовал. Он собрал свою армию под навесом у трансепта и что-то говорил хриплым голосом — мотылек, не видящий дальше своего короткого века. Услышав его голос, Джослин успокоился, и нетерпеливое желание поскорей завершить дело овладело им. Роджер Каменщик уже отдавал распоряжения каждому из строителей. Джослин понял, что речь идет о стальной ленте; поглощенный мыслями об этом, он пошел к себе, но не мог молиться, и тогда его посетили ангел и диавол, и неистов был сатанинский брак, и он ждал рассвета. Он был уверен, что большой колокол на дальней колокольне зазвонил с опозданием: вокруг собора уже перекликались громкие голоса, стучали шаги. Он поднялся на башню, но Роджер прогнал его вниз так властно, что это удивило и испугало их обоих. И он долго кружил по двору, совсем как Рэчел, а потом вернулся к себе, вспомнив, что должен сделать. Он написал длинное письмо аббатисе в Стилбери, осторожное, полное недомолвок, в котором спрашивался, согласится ли она на известных условиях принять в обитель несчастную, падшую женщину. Потом он пошел в собор, взглянул на опоры, и ему пришла мысль, что они, быть может, чувствуют то же, что и он, но они хотя бы свободны от этой ужасной тяжести на сердце, которую дано испытать только человеку. Он не мог видеть, как продвигается работа, и пошел к старшему плотнику, под длинный навес, где были сложены бревенчатые венцы. Бревна казались такими прочными — их не одолеть самому лютomu ветру, по крайней мере так сказал плотник, ударами тяжелого молотка разбирая на части шестой по счету венец, и было в его голосе нечто такое, что заставило Джослина продолжать расспросы, но плотник как воды в рот набрал.

Солнце стояло уже высоко, и тени от стен собора понемногу укорачивались. Среди них была новая тень, отбрасываемая башней; она ползла мимо дома канцелярия, и Джослин заметил на ее конце какое-то неверное марево. Он быстро вышел во двор и остановился почти у самой толпы зевак. Взглянув вверх, он увидел над башней дым. Весь день он кружил подле собора, останавливался, вскидывал голову и отовсюду видел, как поднимается этот дым, равномерно, непрерывно, застилая небо дрожащей мглой. И когда тень собора поползла в другую сторону, дым все еще шел; а в сумерки он увидел зарево вокруг башни, и порой со свинцовой крыши до него доносились голоса каменщиков, которые отдыхали там, спали, ели или пили воду из ведер. Наконец он лег и уснул, но его поднял с постели странный звон, который зазвучал на башне, такой же разноголосый, как и тот, что доносился из сарая на берегу реки. Джослин накинул плащ и вышел в толпу сменяющихся, болтливых горожан. С башни каскадами низвергались искры. Они сыпались из зарева, сверкавшего над ней, и падали на крышу, не успев погаснуть. Один раз сверху донесся пронзительный вопль, потом крики, беспорядочный шум, и на время искры исчезли. В толпе принялись гадать, что случилось, но тут искры посыпались снова, а из трансепта, шатаясь, вышел человек, и рука его была обмотана промасленным лоскутом. Не отвечая на вопросы Джослина, он со стонами и проклятиями побрел в сторону Новой улицы. Но вокруг толпились люди, и было кому оказать ему помощь. Джослину казалось, что весь город не спит, все высыпали на улицы или на площадь или стоят у открытых окон, и все смотрят вверх. Башня светилась в тихой ночи, сыпала искрами, и дым таял, поднимаясь высоко к звездам. А за час до рассвета звон разноголосых колоколов смолк. Вместо искр башня теперь извергала струи пара, которые были бесцветны, как камни в предрассветных сумерках, и казались продолжением этих камней. На рассвете стал таять и пар. Горнила, недавно пылавшие в вышине, сползли, плюясь углями и водой, вниз вдоль огромных окон, люди на крыше подхватили их и убрали внутрь собора. Когда взошло солнце, Джослин, измученный голодом и бессонной ночью, поспешил навстречу строителям, спустившимся с башни. Но они не замечали его. Они шли, пошатываясь, неверными шагами, и их широко открытые глаза смотрели сквозь него, уже видя вожделенные постели, а ноги сами собой брели прочь. Джослин стоял в сонном дурмане, ожидая Роджера Каменщика. Но Роджера не было. Тогда он робко вошел в неф и стал взбираться на башню, а поднявшись по винтовой лестнице, он забыл обо всем, кроме башни, которая была как живая. Потому что в то утро, на восходе, когда поднялся ветер, вся башня

заговорила — она стонала, скрипела, возмущалась, то и дело вскрикивала: «Бам!» — и от этого у него заходило сердце. Но он напомнил себе, во имя кого возведена башня, стиснул стучащие зубы и, взобравшись наверх по зигзагам стремянок, мимо того угла, где висело прежде ласточкино гнездо, очутился наконец на деревянном перекрытии среди каменного леса. Всюду валялись куски угля, стояли лужи. Схватившись за край стены, он глянул вниз и увидел, что весь мир смотрит на башню, со всех сторон смутными пятнами белеют лица, а башню охватила стальная лента шириной в фут и толщиной в два дюйма, вся в голубоватых точечках заклепок. И повсюду она плотно прилегала к камню, иссеченному рубцами и трещинами. Лента была живая, говорящая. Она вскрикивала: «Дон-дин-бам-бом!» — и протяжно звенела.

Он опустился на колени, глядя вдаль между двумя зубцами. «Вот я здесь, — подумал он. — И в этом смысл. Здесь мое место. Я не могу строить из дерева, стали и камня. Но я здесь, для этого я и существую».

Он пал ниц и хотел помолиться, но, не успев вымолвить и слова, заснул, скорчившись у каменной башенки, и тогда явился его ангел, незримый, шестикрылый, и встал над ним, согревая ему спину.

Его разбудил ветер, который трепал ему волосы, сны медленно уплыли и оставили его с ветром наедине. Он открыл глаза, голова у него сразу закружилась, и он понял, что смотрит почти отвесно вниз, на аркаду, с высоты двухсот пятидесяти футов. Он снова закрыл глаза, зажмурил их крепче и стал смотреть в глубь себя, стараясь вновь обрести безмятежность снов. Но сны покинули его безвозвратно, и он знал, что неотвратимо наступил новый день и надо держаться, как держатся опоры. «Моя вера не поколеблена, — подумал он. — И вот как высоко мы поднялись». Эта мысль принесла ему такое утешение, что он полежал еще, как будто кутаясь в нее, потом открыл глаза, но в голове уже было пусто, а ветер трепал его волосы вокруг скуфьи и сушил на глазах последние слезы сна.

Но все же что-то переменялось, и ему снова пришлось думать, доискиваться, в чем она, эта перемена. Она родилась в нем или же вошла в его тело из башенки, через касание бедра или щеки. «Бам!» — звякнула стальная лента, словно подтверждая его догадку; значит, сам камень обрел какое-то новое качество. Эта новизна была столь неуловима, что лишь здесь, в полнейшем одиночестве, лишь в столь близком соприкосновении со свежевытесанной каменной поверхностью можно было ее обнаружить. Да, в камне явилось нечто новое, в этом камне у правого его бока. Этот камень... его рука шарила, ощупывала... Этот камень... Он стал теперь

более... или, нет, менее?... или все-таки более?... твердым. На миг Джослину почудилось, будто камень мягок, как подушка, и он подумал: «Кажется, я еще не совсем проснулся!» Но тут у самых зубцов пролетел ворон, испустив пронзительный крик, такой явственный, обыденный, привычный. Джослин лежал, рассеянно глядя вниз, на галерею, а там, под арками, которые отсюда казались прижатыми к земле, неторопливо прошли ноги в сандалиях и проплыл подол рясы.

Мальчики из певческой школы опять оставили на парапете свои шашки. Он не видел клеток, нацарапанных на камне, но различал на них белые костяные кружочки. Он видел их несколько, но не мог видеть все, потому что выступ между зубцами срезал угол. И он чувствовал себя беспечно, как ребенок, глядя на белые шашки — одна, две, три, четыре, пять...

Он лежал, прижавшись щекой к башенке, и не двигался, в этом не могло быть сомнений. Но вдруг он увидел шестую шашку, она появилась перед его глазами. Он знал, что даже не пошевелился, значит, шевельнулась башня и, хотя наверху ее движение было плавным и бесшумным, там, внизу, опоры, должно быть, взвизгнули: «И-и-и-и-и!» А белая шашка то появлялась, то исчезала, и он понял, что башня раскачивается под ним, как высокое дерево.

Он медленно отвел глаза, взглянул на кучи угля и высыхающие лужи. «Только бы не крикнуть, не побежать, — подумал он. — Ведь это недостойно моего видения». Он медленно поднялся, твердо встал на ноги. Шаг за шагом он осторожно спустился с неумолкающей башни по крутым стремянкам, по винтовой лесенке в пустой собор. Опоры снова пели, и теперь он уловил в их пении некий ритм. Он заставил себя остановиться и слушать, словно исполнял покаяние. С минуту было тихо, но вот снова: «и-и-и-и-и!» — все выше, в полный голос, на верхней ноте, а потом обратно — через те же ступени к тишине.

Он посмотрел на то место, где раньше были плиты пола. «Вот здесь, на каменных плитах, мне было ниспослано видение, — подумал он. — Здесь много лет назад я пал ниц и принес себя в жертву делу. И вера моя не поколебалась. Все в руках твоих, Господи».

Медленно, не оглядываясь, он ушел.

Но день готовил ему новые неожиданности.

У дверей дома ждал нарочный с письмом. Он вернулся из Стилбери, проскакав верхом пять миль, и Джослин, получив так быстро ответ на письмо, первым делом подумал, что Стилбери слишком близко. Но следом

появилась смутная мысль, что все же Стилбери достаточно далеко. Он взял письмо и, сломав печать, прочел. Да, в Стилбери готовы принять падшую женщину, но не на предложенных им условиях, а лишь в случае, если в аббатство будет сделан изрядный вклад. Он открыл сундук, достал деньги. «Я знаю, что они скажут, — подумал он. — Сперва Джослиново безумство, а теперь — Джослинов грех. Что ж, пускай. Надо мной столько насмеялись, что я давно перестал замечать. Это тоже...»

Он вернулся в собор, прошел через неф, меж поющими опорами, а потом через южный трансепт к Пэнголлову царству. Он остановился у порога, глядя на низенький домик, и сердце его сжалось в комок. Он стоял, чувствуя себя бесконечно несчастным. «Сейчас предстоит сделать самое худшее! — подумал он. — И тогда я обрету мир. Это нужно сделать ради меня, и ради него, и ради моей бедной дочери».

Он заставил себя пойти к домику, но, едва сделав первый шаг, он вздрогнул, пошатнулся. В правом глазу у него мелькнуло что-то ярко-красное — это Рэчел ринулась к домику через двор, распахнула дверь, ворвалась внутрь. И сразу там раздался грохот, пронзительный визг, крики: Рэчел выкрикивала слова, жгучие, как огонь. Дверь снова распахнулась, и оттуда неверными шагами вышел Роджер, прикрывая руками окровавленную голову. Вслед за ним выскочила Рэчел. Она осыпала его визгливыми проклятиями, била метлой по голове и по плечам, а в пальцах у нее был зажат клочок рыжих волос, которые дрожали и прыгали при каждом взмахе метлы; Рэчел вопила, визжала, брызгала слюной, не сводя сверкающих глаз со своей жертвы. Они прошли, спотыкаясь, мимо Джослина и даже не заметили его: а в соборе бушевало праведное негодование, и он слышал, как хохотали мастеровые. Мгновение он стоял озираясь. Потом быстро пересек двор и остановился у открытой двери с деньгами в руках.

Гуди Пэнголл скорчилась у очага, где над угасающими углями медленно покачивался на цепи черный котелок. Она опиралась на правое бедро и на руки, поджав ноги под себя. Свет, вливаясь через открытую дверь, блестел на ее обнаженных плечах, голова поникла, рыжие волосы свисали клочьями. Она рыдала, хватая воздух ртом, и все тело сотрясалось, словно по нему пробежали волны. Длинная тень Джослина легла на нее. Она подняла голову, увидела его и взвизгнула. Он простер руку, чтобы остановить ее, но она умолкла сама, подобралась, села на корточки, прислушиваясь к тому, что происходило у нее внутри. Ноги ее судорожно дернулись под юбкой. Она схватилась обеими руками за живот и снова завизжала, но этот визг был совсем иной. Короткий и пронзительный, он

резал как нож. И снова этот визг, и снова...

Джослин выронил деньги. Он повернулся и побежал через двор к дверям трансепта, взывая:

— Женщин сюда! Скорей! Ради самого Господа! Ох, бедняжка! Повитуху!

Мастеровые в соборе забегали, поднялись споры, шум. Джослин снова выбежал во двор, а крик все резал и резал его, как нож. Он упал на колени и молился бессвязно, горячо: «Смилуйся, смилуйся, я не знал, что так будет, только не это, о Господи, все что угодно, только останови нож, мне этого не вынести», — а вокруг него раздавался топот, громкие голоса и споры. Он вскочил и побежал к двери ее домика — помочь, сделать что-нибудь, хоть что-нибудь, смилуйся!.. Мастеровые, приподняв, держали белые тонкие ноги, под ними дергался белый живот и бился крик, а деньги, рассыпанные по полу, были забрызганы кровью, и мир стремительно завертелся у него перед глазами. Когда он опомнился, надо было совершить ужасный обряд крещения, а потом пришли женщины и отец Ансельм с елеем и святыми дарами, которые он поднес к белому, обескровленному лицу. Джослин шел через двор, вдоль стены, от устоя к устью, клонясь и припадая к камням, как тростник, ветром колеблемый. Он с трудом добрался до хора и, упав на колени, хотел помолиться за нее, но рыжие волосы и кровь ослепляли его рассудок. «Это случилось, когда она меня увидела, — подумал он. — В ее глазах я был сама церковь, я предстал перед ней как грозный обвинитель, и она хотела убежать от меня. О Господи, спаси ее, и я посвящу остаток дней, которые ты мне ниспослешь, чтобы дать ей мир, только пусть не будет этого шума, и крови, и пения камней у меня в голове. Я увидел их вдвоем больше года назад, и вокруг них был шатер, и шатер не выпускал их, куда бы они ни пошли, и я смирился пред волей Твоей. Больше года назад...»

Он стоял на коленях и не видел ничего — только эту женщину, сотрясаемую болью. Иногда он вздрагивал и стонал. Иногда бормотал невнятно: «Бог оборонил меня. Он уберег меня от женщины, этого исчадия ада».

А потом он забыл про боль в коленях, забыл про голод, забыл все, и перед ним замелькали картины, в которых не было ни последовательности, ни связи, но он-то знал, что они связаны между собой. Брак, который он сам устроил, и ласточкино гнездо. Волосы и кровь, хромоногий с метлой, который ковылял через неф. Все спуталось, но он терпел, только стонал и содрогался. А потом пришли, словно сами собой родились, слова, объемля всю его жизнь, его грехи, его вынужденную жестокость и, главное, нестерпимый накал его священной воли. Эти таинственные слова иногда

пел на Пасху детский хор, и теперь только они имели для него смысл.

«*Вот что свершил я возлюбя*». Поздним вечером, когда он все еще стоял на коленях, скорчившись и дрожа, пришел отец Адам, ощупью пробрался в темный хор и сказал, что Гуди Пэнголл умерла.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Ее тело опустили в сырую землю, и он побрел прочь как слепой. Он брел, разговаривая сам с собой, а может быть, с каким-то неведомым и незримым спутником. То он вдруг замечал, что идет через собор, прижимая стиснутый кулак к груди, то ему вспомнилось, что он много раз повторял одно и то же. Но даже когда ему удавалось припомнить, что именно, или поймать себя на полуслове, все равно смысла в его речах не было. Он подолгу стоял, задрав голову и сжав кулаки. Он мучительно старался опомниться, понять, что с ним происходит. Но со дна его души, как вода, поднималось какое-то темное чувство. Часто являлся ангел и стоял позади него; это изнуряло его, потому что ангел был великим и дивным бременем, под которым сгибалась спина. Но мало того, вслед за ангелом, словно напоминая о смирении, приходил диавол, которому была дана власть терзать его, и стискивал ему чресла, поистине становившиеся неудержимым злом.

А потом он снова слышал, что без конца твердит одно и то же: «Нет, нет, нет нет» или «Так, так, так, так» — и при каждом слове похлопывает ладонью по пюпитру. Это случалось всякий раз, когда черная вода поднималась из живота и заливала, давила грудь. Он становился лицом к стене, без конца хлопал по ней ладонью и слышал свой голос, который твердил: «Ничего, ничего, ничего, ничего». И шпиль тоже был здесь, вычерченный в его голове простыми, стройными линиями, но другие картины мелькали вокруг него. И все же иногда Джослин мысленно обращал к шпилью свой взор, и тогда он спешил к опорам, глядел вверх и как в бреду ободрял строителей.

Теперь он обрел прозорливость в отношении некоторых людей. (Это дала мне боль, боль, боль.) С ужасающей ясностью он видел, как Роджер вернулся к Рэчел, вернее сказать, все теперь видели, что он снова в ее власти. (Она праведница. Праведница. Праведница. Хлоп, хлоп, хлоп.) Между ними уже не вспыхивали ссоры. Они были вместе, но не кружились больше друг возле друга. Роджер Каменщик стоял, надзирая за работой, сгорбленный, мрачный, с застывшим взглядом. А она стояла позади и чуть сбоку, надзирая не за работой, а за ним. И, глядя на них новыми глазами, Джослин видел на шее у Роджера железный ошейник и длинную цепь, конец которой она держала в правой руке. Если Роджер поднимался наверх, она оставалась внизу с цепью наготове, дожидаясь, когда снова можно

будет пристегнуть ее к ошейнику.

И в голове у Джослина стучала лихорадочная мысль:

«Если я теперь велю ему построить шпиль даже в тысячу футов высотой, он сделает это. Я достиг цели».

(Нет, нет, нет, нет, нет, нет, руки сжимают и разжимают, сжимают и разжимают край надгробной плиты.)

Однажды ноги помимо воли привели его в Пэнголлово царство, и дверь домика была открыта. (Боже, боже, боже, руки хватают, скручивают, рвут высокую траву.) Он бросился назад к собору, подгоняя себя, и в неурочное время поспешил в капеллу Пресвятой девы. Губы его шептали привычные слова, но перед глазами — нет, нет, нет, нет! — стояло белое тело и непоправимо пролившаяся кровь. Он вспомнил об отце Ансельме, но понял, что бесполезно и пытаться объяснить все это Ансельму с его благородной и пустой головой. (Мне нужен другой духовник, другой духовник, другой духовник.) Но, не успев подумать это, он все забыл, потому что она появилась снова, и он увидел скорченное страданиями тело и ужасное крещение.

Он перевел дух, посмотрел на деревянную доску и сказал громко, но со смирением:

— Мой ум слаб.

И тут подоспела помощь, словно бы ангел шепнул ему на ухо:

«Представляй ее себе такой, как прежде!»

И сразу же он радостно представил себе девушку, которая идет с рынка, неся корзину, и замирает перед ним в неловкой почтительности; он вскочил, засмеялся, бросился куда-то и чуть было не пробежал мимо канцелярия. Но пришлось слушать его, улыбаться и кивать. В мыслях же Джослин перенесся на пять лет назад, в то счастливое время, когда он устроил ее брак, и, пока он вспоминал это, канцелярий исчез. (Такой удачный, такой нужный брак, отцы обоих — верные прислужники в храме, каждый а своем месте.)

«Но ведь я-то не смеялась, правда?»

(Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, рука стискивает, стискивает, стискивает...)

Скорей к опорам — там самое важное дело, главная трудность, причина причин, бремя; и Рэчел, постаревшая, уже не такая болтливая, заглядывает ему в глаза, готовая принять осуждение, но кто может ее осудить? Замужние женщины превозносят ее, и она в самом деле приложила все силы, чтобы вернуть своего мужа. А опоры снова пели, и, прислушиваясь, он забыл о ней и понял, что с пением пришел страх и

последние прихожане покинули капеллу Пресвятой девы.

(Помилуй малых сих, малых сих, малых сих...)

Он сказал вслух:

— Но остались большие сии — строители!

И словно в ответ на эти слова с башни спустился человек, бросив работу. Он нес мешок с инструментами и на ходу натягивал на голову синий капюшон. Он прошел мимо Джослина, как мимо пустого места, и быстро зашагал в трансепт.

— Вернись!

В трансепте на месте пролома теперь была дверь, и она с грохотом захлопнулась. А на месте мастерового появился регент хора и попросил уделить ему минуту с таким жутким спокойствием, что было ясно: он вне себя от ярости. Но перед глазами Джослина стояла умершая, он не мог молиться, был удручен отступничеством мастерового и потому только зажал уши и покачал головой.

— Это необходимо. Решительно необходимо, чтобы я бросил все и был со строителями. У них нет веры, и я им нужен. Разделите все прочие обязанности между собой. А я всегда, каждое мгновение буду здесь, подле шпиля.

Он стал глядеть вверх, на башню, и не заметил, как регент ушел. Потом он поспешил к мастеру.

— Теперь я всегда буду с вами.

Роджер Каменщик стоял в своем ошейнике и взглянул на него тусклыми глазами.

— Это хорошо, милорд настоятель. Очень хорошо.

Джослин вспомнил о регенте и крикнул ему вслед:

— Вы слышали, милорд?

А опоры пели. Он подоткнул рясу и полез на башню, все выше, выше. Когда ему встречались строители, он весело заговаривал с ними, смеялся, и они смеялись в ответ — правда, не очень уверенно. Они рассказали ему про длинный канат, одержимый бесами, и он решил взглянуть сам. Да, канат в самом деле был одержим. Он свисал с башни через широкое отверстие, и конец его лежал на полу, как мертвая змея. Джослин видел, как на канате поднимали бревна, из которых наверху собирали венцы. Сверху подавали команду, снизу откликались, а потом в полном молчании бревно уплывало в воздух. Но как бы осторожно ни подтягивали канат, в какой-то миг он вдруг начинал крутиться, извиваться, биться о края отверстия, и нужен был очень точный расчет, чтобы протащить бревно, не повредив камня.

Он увидел, как Роджер Каменщик стал подниматься на башню,

услышал внизу голос Рэчел, которая тоже поднялась немного, но выше лезть боялась и выкрикивала ему вслед наставления. Он сразу вспомнил ласточкино гнездо и, не дыша, миновал то место, где оно висело. Он сказал вслух своему ангелу:

— Сюда она уже никогда не поднималась.

Мастеровые услышали это, истолковали по-своему и захохотали.

— Нет! Тут уж он от нее свободен.

Джеан взглянул сверху на мастера и сказал, а мастеровые при этом прыснули со смеху, как мальчишки из певческой школы:

— Скоро она и в нужник будет его провожать.

В тот день Джослин сделал еще одно открытие: Роджер Каменщик начал пить. Он стал пристально наблюдать за ним и заметил, что Роджер даже не пьян, а словно бы весь пропитан вином. Его дыхание было почти зримым. Он то и дело прикладывался к бутылке, когда поднимался наверх, или стоял на лесах, или сидел на корточках возле растущего конуса, этой каменной кожи шпиля. Сначала Джослин пришел в ужас, как пассажир на корабле, которым командует пьяный капитан, но потом это прошло. И с тех пор он совсем перестал обращать внимание на тех, кто занимался внизу своим обычным делом.

А опоры все пели, и Джослин узнал, что только они одни и поют во всем соборе. Возмущенный причт перенес богослужения в дом епископа. Иногда Джослин, торопясь в собор, пересекал путь одному из церковников, но все обходилось благополучно. Его только провожали тяжелыми взглядами. И даже когда отец Адам сказал ему, что скоро придут Гвоздь и Визитатор, он только переспросил рассеянно: «Визитатор?» — и исчез на лестнице.

Хотя Джослин все время был на башне, это нисколько не помогало мастеру. Он пил — в этом теперь была какая-то неизбежность, словно в явлении природы. Порой он мрачнел и подгонял строителей грязной бранью. Когда Джослин был рядом, он изрыгал такие кощунства, что настоятель сразу забывал о белом, обнаженном теле. И тогда он забивался в угол, зажимал уши, чтобы не слышать проклятий, и Гуди возвращалась, или он вспоминал, как под ее ножками сплеталась золотая путаница следов на дворе, на рынке, в соборе, и он стонал, закрывая лицо руками:

— Она умерла. Умерла!

А порой Роджер, наоборот, становился притворно, нелепо веселым и норовил подпойть всех вокруг. Но чаще он бывал удручен, медлителен и тяжело лазил по стремянкам; а вечером, после работы, он покорно спускался вниз, где Рэчел пристегивала к ошейнику цепь и уводила его.

Тогда Джослин кивал и говорил умудренно:

— Ему все равно — жить или умереть.

Но на другой день, когда она снова начала преследовать Джослина и он, чтобы от нее избавиться, стал ходить следом за Роджером, он увидел, что неверно судил о мастере. Роджеру было не все равно — жить или умереть, иначе им не владел бы столь явный страх. Невозможно было объяснить, почему страх этот такой явный. Джослин видел его так же ясно, как шатер и цепь, и он видел, что этот страх не от естества, как страх здорового зверя. Этот страх был подобен отраве, как прежний страх Роджера перед высотой. Но теперь страх толкал Роджера к людям, вызывал потребность видеть их рядом, потому что он поневоле вынужден был сносить высоту. «Он готов умереть, — думал Джослин, — он даже рад бы умереть и все-таки боится упасть. Он рад бы надолго заснуть, но только не ценой падения с высоты. Вот еще причина, почему, лазая по лесам, он то и дело прикладывается к бутылке и от него несет винным перегаром».

Таковы были те люди, чьими трудами возводился шпиль: один пил запойно, другой избегал смотреть вниз, чтобы не видеть золотой путаницы следов, остальные более или менее сохраняли здравый рассудок. А на верху башни было перекрытие из бревен, одержимое нечистой силой; но эту одержимость можно было понять, и она влекла к себе Джослина, потому что под навесом во дворе он такого не видел. Это вызывало тревожные и мучительные раздумья. В венце, уложенном поверх перекрытия, на равных расстояниях были прорезаны пазы, и в каждый паз был загнан клин. Строители уже собрали второй венец, который лег на клинья; прочный канат, прочнее якорного, опоясывал нижний венец, удерживая клинья на местах. Джослин спросил мастера, для чего это, но в ответ услышал лишь ругань, и тогда он снова отошел в угол и погрузился в свои думы. А как-то вечером, когда Роджер с угрюмым ворчанием спустился вниз, Джослин отвел Джеана в сторону и указал на клинья.

— Объясни мне, зачем это?

Но Джеан засмеялся ему в лицо.

— Тут дело нечисто.

Джослин потряс его за плечи, силы вернулись к нему.

— Я должен знать. Это не только ваше дело, но и мое.

Джеан передернул плечами и стряхнул его руки.

— Все держится на клиньях. Он хочет подвесить деревянный сруб на каменном яблоке, которое будет наверху шпиля. Если до этого налетит гроза — трах-тарарах! А если нет, он помаленьку ослабит канат, и венцы, или, верней, крепи между ними вытянутся. Сруб повиснет внутри шпиля и

придаст ему устойчивость против ветра. Так-то.

Он пнул ближайший клин.

— Он думает, сруб вытянется — вот настолько. Кто знает?

Может, он и прав.

— А ты уже видел где-нибудь такое?

Джеан рассмеялся.

— А разве кто-нибудь уже строил такой высоченный шпиль?

Джослин окинул взглядом каменную кожу.

— Кажется, где-то за морем... Люди рассказывают...

— Если каменная оболочка не рассыплется, и яблоко не треснет, и сруб выдержит, и опоры не рухнут...

Он снова пнул клин, покачал головой и уныло присвистнул.

— Он один мог это придумать.

— Роджер?

— Он пьет без просыпу и давно уже спятил. Но только человек, который спятил, и возьмется выстроить этаким шпиль.

Он повернулся и стал спускаться. Немного погодя снизу послышалось:

— *Все мы тут спятили.*

Это помогло Джослину понять мастера. «Надо отдать ему всю силу, какая есть во мне», — подумал он. На другое утро он ходил за Роджером по пятам и все спрашивал:

— Как это называется, сын мой? А это?

Роджер не удостоивал его ответом. Но в конце концов не выдержал:

— Как, как! Куски камня и дерева никак не называются. Вот это будет держаться на том, а то — вот на этом, если не упадет. Оставьте меня в покое!

Он полез вверх, неуклюже, как медведь, и по дороге приложился к бутылке. Джослин тоже поднялся вверх, но не к нему, а к мастерovým, которые всегда были ему рады, и присел возле них на корточки. Сначала он не понимал, почему они ему рады, но потом понял, что спасает их от страха; теперь он понял все до конца, потому что ангел уже не покидал его ни днем, ни ночью, спасая от страха его самого, и это было великим благом, хотя под бременем ангела сгибалась спина. Теперь Джослин приходил в собор на заре, стоял там в одиночестве, ощущая, что и сейчас, на половине пути, он не властен над жизнью своей. Если мастерových еще не было и ему удавалось ускользнуть от золотой путаницы следов, он пытался разобраться в тех необычных чувствах, которые обуревали его.

«Как это называется? А это?» Иногда в полумраке собора он рассуждал про себя, но шпиль, высившийся у него в голове, не давал

довести рассуждения до конца.

«Когда это кончится, я буду свободен...»

Или: «Что ж, такова цена...»

Или: «Я знаю Ансельма. И вон того. И вот этого. Но ее я никогда не знал. Сколь драгоценно было бы для меня, если б я мог...»

«Как это называется? А это?» Однажды, серым утром, он целый час был совершенно спокоен, а потом натолкнулся на мысль, которая сначала была как глухая стена, а потом она вдруг стала для него такой же важной, как день рождения для ребенка. Он смотрел на дощатую перегородку, за которой была капелла Пресвятой девы. И ему вспоминались давние события, которые происходили словно в иной жизни.

— *Господь был там!*

Он стоял, глядя на серые опоры в сером свете верхних окон, с которых вещали патриархи. И он спросил у перегородки:

— И это тоже часть цены?

Но ответа не было; тогда он поспешил к лесам, поднялся наверх вместе со строителями, благословил их. И шпиль вытеснил все мысли из его головы.

Между тем шпиль все суживался и те, кто в нем работал, как бы поднялись над землей еще на одну ступень. Это был не конец, а начало. Линии башни сходились далеко внизу, и у своего основания она словно становилась совсем тонкой, казалось, это стрела, уходящая острием вниз, здесь же, наверху, был уродливый тупой конец. У людей, чья жизнь теперь протекала на высоте, от качания уже не заходило сердце, но в размеренном чередовании тяжести и легкости было что-то, изматывавшее не столько тело, сколько душу. Джослин испытал на себе, как постепенно растет гнетущая тяжесть и вдруг перехватывает дыхание и ты вцепился мертвой хваткой во что попало. И тогда быстро переводишь дух, и на время становится легче, но потом тяжесть возвращается. Одно было хорошо здесь, на высоте трехсот футов. Когда поднимался ветер, не слышно было пения опор, хотя мысли о них не покидали людей — ведь всего четыре тонкие иглы, воткнутые в землю, держали на себе весь этот мир из камня и дерева.

Спасти от этого могла только работа, которая требовала полнейшей сосредоточенности. Каменную оболочку конуса нужно было класть с предельным тщанием, лишь тогда она обретала наибольшую прочность. И все же в ветреные дни уровень, положенный на верхнее перекрытие башни, обнаруживал какое-то медленное безумие, дрожал, как душа в преддверии ада. И тогда мастер ни с кем не разговаривал, только хмурился и о чем-то

размышлял, а потом вдруг набрасывался на кого-нибудь из помощников с неистовой руганью.

И вот появилось нечто такое, чему никто не знал названия. Появилось постепенно, как порой подкрадываются холода. Быть может, это было сознание, что они теперь на такой высоте, на какую еще не поднимался ни один человек. Никто не мог уловить новую грозную неизбежность, но какие-то липкие предчувствия ползли по телу. Теперь наверху редко разговаривали спокойно: молчание нарушала только ворчливая брань или внезапные крики ярости. Порой слышался судорожный смех. Чаще — всхлипывания.

Некоторые даже бросали работу и уходили. Ушел Ранульф, маленький, сухой, морщинистый человечек. Он был молчалив, быть может потому, что остальные едва понимали его неуклюжий английский язык. Медлительный, как улитка, он зато работал без передышки. Приступы безумного смеха или ярости ни разу не захватили его. О нем часто забывали, а потом, взглянув в его сторону, видели, что еще один камень с его меткой лег на место. Но как-то в июле, когда шпиль снова стал качаться, он попятился от каменной оболочки и начал складывать в сумку инструменты. Никто не сказал ни слова, но все, один за другим, тоже бросили работу и смотрели на него. Ранульф не обращал на них внимания и собирался неторопливо, как всегда. Обтерев инструменты, он обернул их тряпицей и аккуратно сложил в мешок. Он осмотрел сумку, в которой носил еду, отряхнул руки. Потом взял сумку и мешок, медленно сошел вниз и исчез из виду. Все проводили его взглядом, а когда он скрылся, один за другим вернулись к работе, но было в неторопливом уходе этого человека что-то леденящее, отчего дрожь пробегала по телу.

И все же гораздо страшнее был уход другого.

Макет шпиля оканчивался шариком, на котором держался игрушечный крестик. Когда Джослин увидел на дворе самый шар, забранный деревянной решеткой, он почувствовал сомнение, которое вскоре перешло в ужас. Это каменное яблоко было больше мельничного жернова и, наверное, тяжелее лошади с повозкой, а ведь его предстояло поднять на самый верх, фут за футом. Джослин видел, как его втащили в собор, а потом оплели канатами и постепенно, с остановками, подняли сквозь отверстие в своде. Во время каждой остановки долго возились с клиньями и рычагами, придавая яблоку нужное положение; и вот оно неумолимо закрыло собой середину первого венца. Но это было еще не все: яблоко поднимали выше и выше, пока наконец не стало ясно, что через следующий венец оно не пройдет. И пришлось на высоте трехсот

пятидесяти футов перетащить его на леса, специально построенные вне конуса. Конус вырастал, и вместе с ним вырастали леса, по которым поднимали шар. Приходило время, и снизу леса убирали, чтобы надстроить их сверху, — так играют дети, перехватывая руками палку.

Джослин избегал смотреть на каменное яблоко. Привязанное к лесам, удерживаемое подпорками и клиньями, оно заслоняло целый квартал города. И при этом оно висело на стене, как священный камень в Мекке. Теплый летний ветер раскачивал конус, и, хотя душа Джослина была полна веры, тело его превращалось в комок сжатых мускулов и трепещущих нервов, ему казалось, что эта махина вот-вот переломит четыре каменные иглы, как ольховые прутики. В такие минуты ему оставалось одно: отбросить эту мысль, думать только о конусе, который должен подняться еще на пятьдесят футов; это утомляло его, а потом, подняв глаза, он снова видел каменный шар, заслонявший целый квартал города. И когда он смотрел вниз, это уже не рождало в нем такого пугающего восторга, потому что, чем больше суживался конус, тем темнее становилось внутри. А если посмотреть на башенки, которые торчали вокруг главной башни, где кружили птицы, становилось страшно, как бы одна из них не совместилась с какой-нибудь точкой на голубой чаше земли, и тогда сразу видно станет или покажется, что шпиль кренится. К тому же для рук Джослина здесь не было дела. Он мог только сидеть в уголке, черпая твердость в своей воле или в иной воле, которая была не его, и стараться поддержать ею шпиль и людей среди этих новых, неотступных предчувствий.

Может быть, поэтому ему было так трудно подниматься вверх. Он едва переводил дыхание после крутых стремянок, часто ложился потом на доски, тяжело дыша, и ждал, пока сердце успокоится, или, вернее, начнет стучать не громче обычного. Он ползал на четвереньках, неся на себе ангела—утешителя, но это было нелегко, потому что конус с каждым днем суживался. И все же никто его не гнал, он не мог понять почему, а когда спросил об этом Джеана, тот сказал просто:

— Вы нам приносите удачу.

Из-за Джеана и случилась новая беда. Однажды он поднялся вверх хмурый, с застывшим лицом, попросил у мастера отвес и шнур. И пока строители закусывали, укрывшись за каменной оболочкой, а мастер молча прикладывался к бутылке, Джеан быстро спустился со шпиля.

После этого никто не проронил ни слова.

Вскоре Джеан вернулся, отдал мастеру отвес и моток шнура, потом взглянул на Джослина. Лицо у него было такое, что Джослин почувствовал: медлить нельзя. Он заговорил и услышал, как вместе со словами из его

горла вырвался визгливый смех:

— Ну как? Оседают?

Тяжесть, пустота, легкость, пустота.

Джеан облизал губы. Вокруг них была грязновато-зеленая кайма. Голос его походил на карканье:

— Гнутя.

Стало тихо, был слышен только шепот ветра над неровным краем конуса.

А потом раздался странный звук, словно еще кто-то новый, человек или зверь, поднялся к ним наверх. Раздалось мычание; мычал Роджер Каменщик. Он сидел у стены, уставившись прямо перед собой, словно мог видеть сквозь камень.

— Роджер!

Тяжесть, молчание.

— Сын мой!

Легкость, молчание.

Мастер боком, как краб, пополз по доскам и, на шаривая руками путь, скрылся из виду. Было слышно, как он спускается все ниже и ниже; и по мере того, как он удалялся, мычание становилось пронзительней, перешло в визг, потом в пение, похожее на пение камней. И снова стало тихо.

И вдруг все засмеялись, вереща, завывая, до крови колотя кулаками по камню и дереву; в полутемном конусе вспыхнуло яркое пламя любви, зажигая души. Сама воля отверзла уста Джослина среди этого пламени и пообещала рабочим прибавку, а они обнимали его тощее тело, которые было лишь сосудом воли.

Теперь ему еще легче стало пренебрегать тем, что происходило внизу, а это было необходимо, потому что, когда опоры начали гнуться, люди внизу попробовали вмешаться, и ему оставалось только смотреть сквозь них на шпиль, и ждать, пока они уйдут. Скованный своей волей, он слышал, как горожане проклинали его за то, что богослужения в соборе прекратились. Его проклинали даже безбожники. Люди стояли у входа и смотрели через весь неф на опоры. Когда он проходил мимо, истерзанный борьбой ангела с дьяволом, они не осмеливались проклинать его открыто, но что-то бормотали за его спиной. Он знал, о чем они говорят, потому что сам видел, как согнулись опоры. Не было сомнения, что Джеан прав. Цельный камень не может гнуться, и все-таки он гнулся. Если смотреть вдоль нефа, то на фоне окон глаз явственно видел, как две соседние опоры выгнулись и сблизились едва заметно, хотя смотреть приходилось долго и внимательно. Одно было хорошо. Чем сильнее гнулись опоры, тем меньше

они пели. К середине лета они, казалось, вообще перестали и гнуться и петь, но Джеан сказал, что они просто ждут осенней непогоды и уж он-то постарается к тому времени убраться отсюда. А пока что это постарались сделать все, кроме строителей и человека, приносившего им удачу.

Работа наверху спорилась, словно каждый уже ощущал на своем лице дыхание осенних ветров. Никого еще Джослин не знал так хорошо, как этих людей, — он теперь знал их всех, от немого до Джеана. Он стал среди них своим. Он жался к стене, всегда ощущая за спиной своего ангела, а потом сам начал таскать камни и бревна, тянул вместе с другими канаты или наваливался на рычаг. Рабочие звали его «отец», но относились к нему снисходительно, как к ребенку. Когда стало совсем тесно и в этой тесноте бился исступленный смех, ему поручали металлическое зеркало, которое отражало свет внутрь шпиля. Он гордился этим почти до слез, хотя сам не знал почему. Он сидел на корточках и держал зеркало, а старший плотник, лежа на спине, подгонял венцы.

— Чуть левей, отец!

— Так, сын мой?

— Еще. Еще. Хорош!

И он сидел на корточках, старательно направляя свет. «Они праведники, — думал он. — Они богохульствуют, ругаются, у них грубое ремесло, но они праведники. Я убедился в этом здесь, под солнцем, на высоте почти четырехсот футов. Наверное, все дело в том, что они избраны, как избран я».

Он рассказал им про своего ангела, и они не удивились, а заглянули ему за спину и серьезно кивнули. И тогда он решил открыться им еще кое в чем и рассказал про свое видение, потому что счел их достойными такой награды. Но этого они не могли понять. В конце концов он махнул рукой, покачал головой и пробормотал с досадой:

— У меня все это где-то записано.

Потом он вспомнил о проповеди, которую хотел произнести, когда шпиль будет построен и у опор поставят кафедру. Но тут их лица потемнели. Джеан заявил, что только дурак согласится теперь работать у этих опор, а он сыт по горло. Но к Джеану подошел немой, он бил себя в грудь, кивал головой и мычал. И все снова стало легко и просто.

Однажды они прекратили работу раньше обычного и, несмотря на все уговоры Джослина, не хотели продолжать. Они попросту ушли, словно его и не было на свете. Он подождал немного и тоже спустился вниз, но люди, которые были в соборе, мешали ему, и шпиль грозил рухнуть у него в

голове. Джослин посмотрел на согнувшиеся опоры и долго бродил по храму, а потом тишина и золотые следы заставили его вернуться к лесам. Он снова поднялся наверх, полез по шатким стремянкам, перекинутым между венцами. Он понимал, что теперь ему остается только ждать, и поднимался медленно, но все равно сердце отчаянно колотилось. Наконец он добрался доверху и присел там, в царстве воронов. Стояла мертвая тишина, солнце закатывалось, и шпиль, весь целиком, высился у него в голове.

Но еще прежде, чем солнце зашло, Джослин заметил, что, кроме него и ангела, на башне кто-то есть. Этот третий смотрел ему прямо в лицо. Он выглядел, как из рамы, из металлической пластины, которая стояла напротив, заслоняя небо. Джослин уже хотел произнести заклинание и поднял руку, но тот, другой, повторил его движение. Тогда он пополз на четвереньках по доскам, и другой пополз ему навстречу. Он преклонил колени и стал разглядывать всклокоченные волосы, тощие руки, ноги, торчащие из-под грязной, подоткнутой рясы. Он всматривался все пристальней, затуманил дыханием свое отражение и вытер зеркало рукавом. Потом снова преклонил колени и смотрел долго, не отрываясь. Он разглядывал свои ввалившиеся глаза, кожу, туго обтянувшую лоб и скулы, запавшие щеки. Разглядывал нос, похожий на клюв и почти такой же острый, глубокие морщины на лице, оскаленные зубы.

И, глядя на свое коленопреклоненное отражение, он почувствовал, что голова его прояснилась.

— Что ж, Джослин, — беззвучно сказал он отражению. — Что ж, Джослин, вот чего мы с тобой достигли. Все это началось, когда мы были повергнуты. Кажется, вскоре после того, как зашевелилась земля. Мы можем вспомнить, что произошло с тех пор, а все, что было раньше, подобно сну. Все, кроме видения.

Он встал и начал беспокойно топтаться на месте. Внизу вечер тронул зеленью края чаши. А потом они почернели, бесшумные тени залили чашу, и он не заметил, как пришла ночь, зажигая на небе бледные звезды. Вдали он увидел огонь и решил, что это горит стог сена; но, обходя конус, он заметил, что по краям мира пылают еще костры. И его охватил ужас, он понял, что это костры Ивановой ночи, зажженные на холмах поклонниками сатаны. В долине Висячих Камней ярко пылал огромный костер. Джослин вскрикнул, но теперь им владел не страх, а скорбь. Он вспомнил своих праведников и понял, почему они бросили работу и куда ушли. И он закричал со злобой, неведомо кому:

— Они праведники! Я утверждаю это!

Но то был лишь порыв чувства. А в глубине души он знал все. Вот еще один урок. Урок, достойный этой высоты. Кто мог знать, что и это предопределено? Кто подумал бы, что здесь, на этой высоте, мой каменный чертеж молитвы поднимет крест и вступит в единоборство с огнями диавола?

И тут в его голове снова появились строители и та, чьи ноги оставляли золотые следы, и он горько заплакал, сам не зная о чем, быть может, о грехах всего мира. А потом слезы высохли, и он сидел, тоскливо глядя вдаль, где плясало пламя зловещих костров.

Понемногу он снова обратился мыслью к собственной жизни. «Если Давид не мог построить храм, потому что руки его были обагрены кровью, что же сказать о нас, обо мне?» И перед глазами у него встало ужасное крещение, и он вскрикнул; а потом, едва он от этого избавился, целое воинство воспоминаний двинулось на него. Бессильный остановить их, он смотрел, как они множатся. Словно фразы, они складывались в повесть, и, хотя кое-что оставалось недосказанным, все же повесть говорила о многом. Это была повесть о ней, и о Роджере, и о Рэчел, и о Пэнголле, и о мастеровых. Он смотрел вниз, сквозь стремянки, сквозь перекрытия, сквозь свод, туда, где зияла яма, словно могила, вырытая для какого-нибудь именитого человека. Зловещие костры, на которые он уже не обращал внимания, плясали по всему горизонту, а его словно сковало льдом. Он вспоминал, как сидел там, внизу, глядя в пол, и среди пыли и мусора на ногу ему легла веточка с бурой бесстыдной ягодой.

И он прошептал в темной высоте:

— Омела!

Наконец он снова попытался молиться; но явилась она, оставляя за собой золотую путаницу следов, голова ее упала на грудь, платье развевалось, а зловещие костры плясали вокруг них обоих. Он простонал в ужасе:

— Меня околдовали.

Он стал спускаться, то и дело останавливаясь, не видя стремянки под ногами; и недосказанная повесть пылала у него перед глазами, а каменные плиты пола, которые теперь снова лежали меж опорами, жгли ему ступни адским пламенем.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Теперь он уже не смеялся вместе со строителями, а только увещевал их. Он заметил, что, хотя они не могли видеть ангела и не ощущали его присутствия, ангел все же нес утешение и для них; так наступил и минув август, и шпиль был почти готов. Теперь дули ветры, и в эти дни утешение, которое приносил ангел, стало необходимым для строителей. Однажды в августе с юго-запада налетела гроза, и под ее натиском шпиль качался, как мачта, но согнувшиеся опоры все же выдержали. Во время этой грозы отец Адам сказал Джослину, что леди Элисон больше не будет писать ему писем, а скоро приедет сама.

Гроза не прошла бесследно. Она оставила после себя переменчивую погоду, дождь, солнце и снова дождь, а в сентябре, когда нужна была всего неделя ясной погоды, чтобы закончить работу, открылось небо такой беспредельной глубины, что это казалось знамением: когда придет гроза, ярость ее будет столь же беспредельна. Мастеровые все время ссорились, проклинали каменный шар, и ветер рвал на них одежду; а Джослин устремлял взгляд вдоль унылых излучин реки в сторону моря, надеясь увидеть Священный Гвоздь; ему уже чудилось, что Гвоздь, сияющий и всемогущий, явился из пышного Рима, где все еще пребывал епископ. Он подумал, что погода, видимо, знает об этом и торопится, потому что небо начало осыпать их дождем, словно побивая камнями, и вымокшие строители даже не мерзли — струи воды обжигали их. В эту непогоду, когда ветер трепал плащи, задирая полы выше голов, они поставили на место каменное яблоко. Шпиль весь содрогался, а люди два дня разбирали леса и оставили лишь несколько подмостей, чтобы водрузить крест и у подножия креста — ковчежец с Гвоздем. В первый из этих двух дней Джослин увидел Гвоздь в пятнадцати милях от собора — длинная процессия тянулась от деревни к деревне. Но еще до вечера облака окутали шпиль, и Джослин уже не видел процессии и Визитатора. Он не переставал увещевать строителей, а дождь хлестал по его голым ногам, и ветер трепал рясу. Когда все было готово, они толпой повалили по шатким стремянкам вниз, в теплоту башни. Джеан расставил всех по местам и каждому дал кувалду. Стало тихо, люди стояли у клиньев, держа кувалды наготове, а Джеан внимательно оглядел всю снасть.

Наконец он повернулся к Джослину:

— Нужны еще люди.

— Так бери их.

— Но откуда?

Они замолчали. Немой что-то мычал пустым ртом. Джеан посмотрел на ворот.

— Надо кончать, не то поздно будет.

Он подошел к вороту, убрал стопор, повернул рукоять на пол-оборота, потом остановил ворот и прислушался, обратив ухо к деревянному срубу внутри шпиля, уходившему вверх на сто пятьдесят футов. Канат, захлестнувший нижний венец, намертво скреплял клинья, которые несли на себе всю тяжесть сруба.

— Бейте по клиньям. Легонько!

Кроме стука кувалд, не слышалось ни звука. Джеан снова повернул рукоять на пол-оборота.

— Ну-ка, еще разок.

Он обошел башню, похлопывая рукой об руку.

— Не знаю. Право слово, не знаю. Почему его самого здесь нет, этого ублюдка?

И тут ворот загудел, канат сорвался. Деревянный сруб словно треснул, треск перешел в пронзительное верещание: венец подался вниз, и клинья разлетелись во все стороны, как сливовые косточки от щелчка. Бревна легли на приготовленное для них основание с грохотом, который был оглушительней грома и больно ударил в уши; башня ходуном заходила под ногами. Джослин упал на колени, сквозь гул и грохот он слышал, как строители с ревом бросились вниз по стремянкам, давя друг друга. Конус весь корчился, летели щепки, пыль, каменные осколки. Деревянный сруб над головой извивался, растягивался, трещал. Джослин стоял на коленях, прикрываясь руками, а дерево уже только постанывало да изредка взвизгивало. И наконец остался лишь шум ветра, но теперь ветер мог играть на новых инструментах и настраивать их. Они отзывались не в лад на каждое колебание шпиля.

Он выпрямился, все так же стоя на коленях. «Еще совсем немного, и я обрету мир, — подумал он. — Надо принести Гвоздь».

Он отыскал стремянку и стал спускаться.

Но он не обрел мира, даже когда спустился с винтовой лестницы. Канат ослаб, и в то же время он почувствовал, как затянулась другая петля. Эта петля сдавила ему грудь. Он подумал: «Мне все ясно. Теперь надо опередить дьявола. Мы оба бежим что есть мочи к последней черте. Но я буду первым».

Он постоял у опор. Прислушавшись, он почувствовал, что петля ту же

стянулась на груди, потому что услышал, как зверь ощупывает лапами окна, пытаюсь проникнуть в храм. И зверь уже не один. Имя им легион. Они окружили собор, пробовали двери и окна, словно готовились к решительному приступу. Джослин понял, что надо спешить, и бросился в аркаду. Но там беспорядочной толпой стояли каноники, они встретили его громкими возгласами.

— Где Он?

Но ему не дали святыню, его обступили, принялись теребить, говорили и даже кричали что-то бессмысленное. Кто-то одернул на нем рясу, так что она вновь прикрыла голые ноги. Он чувствовал, что ему приглаживают волосы, и понял, чего они хотят. Он закричал на них:

— Подайте мне Его, иначе я не скажу ни слова!

Сразу стало тише, лишь с другого конца аркады доносилось пение мальчиков, и теперь он оглядел высших духовных особ, викариальных певчих и священников. «Они такие же, как армия Роджера, — подумал он. — Только трусливей».

Бесы шептались на вершине кедра.

И тогда отец Безликий подал Джослину Его в серебряном ковчеге, и Джослин принял Его, преклонив колени, и вместе с ним преклонили колени еще какие-то люди. А Джослин прижал Его к петле, стиснувшей грудь, поспешил в хор и возложил Его на престол, где Он ярко воссиял в ковчеге, и вокруг Него зазвучало пение, хотя слов расслышать было нельзя. И он сказал Гвоздю: «О, поспеши!» — зная, что обретет мир в тот миг, когда Гвоздь будет вбит. И он вернулся назад, туда, где его ждали. Он оглядел их, чувствуя, как петля стискивает грудь, и увидел множество новых лиц, или нет, лица были те же, просто теперь он видел их по-иному. Весь этот год они копошились здесь, внизу. И новые чувства соединили их в пары и троицы. Их головы не были скорбны, как у него (а бесы скулили вокруг собора), они были полны жалких, крошечных мыслишек, с которыми им так легко жилось. Да и сами они тоже были крошечные и на глазах становились все меньше.

Он услышал тихий голос Ансельма.

— Пускай увидит его как есть.

Наступило молчание, и они стали меньше самых маленьких детей в хоре. А потом все эти малыши задвигались. Шаркая ногами, они расступались, но лица их все время были обращены к нему, словно они хотели заглянуть ему в голову. Они выстроились в два ряда, оставив перед ним проход, и этот проход упирался в высокую дверь залы капитула. Джослин взглянул на дверь. Он подумал: «Визитатор поймет, что я стал

мастеровым, каменщиком, плотником поневоле».

Они отворили перед ним одну створку двери, и он вошел. Переступив порог, он остановился и посмотрел на окна, по которым шарили бесовские лапы. Но он знал, что, если бесы и проникнут сюда, это не страшно. Теперь он мог оглядеться; за длинным столом, заваленным грамотами, восседал Визитатор и его помощники — семеро обычного человеческого роста. Джослин приблизился, встал на колени возле свидетельского места и назвал себя:

— Джослин. Настоятель кафедрального собора Пречистой девы Марии.

Все семеро смотрели на него. Два писца с перьями наготове подняли головы. Сам Визитатор привстал и подался вперед, опершись руками о стол. Это был смуглый человек с резкими чертами лица, с косматыми бровями и глубоко посаженными глазами. На нем было просторное, черное с белым одеяние. С минуту он рассматривал Джослина, потом движением руки пригласил его сесть. Джослин встал с колен и поклонился, семеро тоже встали и поклонились все разом, словно набежала волна. Потом все сели, и Джослин тоже сел; он сидел молча и видел, как их головы сдвинулись, как они кивают друг другу и переговариваются.

Наконец Визитатор снова повернулся к нему.

— Это не дознание, милорд. Но может быть, вы...

— Спрашивайте что угодно, я готов отвечать.

— Я был в этом уверен.

Визитатор вдруг улыбнулся. «Он все понимает, — подумал Джослин, а петля давила ему грудь. — Он на моей стороне, и притом он обыкновенного роста».

Визитатор заговорил снова:

— Этот предваряющий разговор, быть может, упростит дело.

«Упростит дело, — подумал Джослин. — Что ж, если он хочет этого, я готов».

— Меня считают сумасшедшим.

И снова наступило молчание, а он заглянул внутрь себя и не стал противиться. Он торжественно кивнул Визитатору.

— Может быть, так оно и есть.

Головы снова сдвинулись. «Нет, — подумал он, — ничего я не упростил, а только усложнил». Он застонал, ощупал свою голову и нашарил что-то в волосах. Это была закрученная стружка, он растянул ее, порвал и отшвырнул прочь. За столом все бормотали, один из писцов кивнул, встал, слегка поклонился и вышел.

Визитатор сказал мягко:

— Мы составили перечень вопросов, которые извлечены из доношений и свидетельств.

— Из доношений? И свидетельств?

— Разве вы не знали? Некоторые получены еще два года назад!

Он мысленно оглянулся на два минувших года.

— Я был занят.

Теперь Визитатор уже не скрывал улыбки.

— Мне кажется, некоторые вопросы не совсем справедливы, скажем, вот этот — о свечах.

— О каких свечах?

Визитатору подали грамоту, и он принялся ее рассматривать. В голосе его зазвучало любопытство.

— Писавший это, надо полагать, считает, что Матери Церкви нанесен сокрушительный удар тем, что два года ее чада не возжигали свечей в нефе собора.

— Ансельм!

— Это ваш ризничий, не так ли? Надо полагать, немалую часть своих доходов он извлекает из продажи свечей. Но, разумеется, им руководило не это, а нечто более возвышенное, духовное. Да. Отец Ансельм, ризничий собора Пречистой девы Марии. Владелец личной печати.

— Ансельм!

(А он удалялся, становился все меньше, исчезал в длинном коридоре...)

— Милорд настоятель. Может быть, дело станет яснее, если вы признаете или отвергнете некоторые общие... обвинения.

— Я же сказал, что готов отвечать.

— Тогда приступим, милорд.

Визитатор стал переворачивать листы. Джослин ждал, прижав руки к груди, и смотрел на вереницу сандалий под столом. Визитатор поднял глаза.

— Признаете ли вы что в этом храме без надобности перестали ткать, как здесь сказано, «великолепный узор хвалы Господу»?

Джослин с готовностью кивнул:

— Это правда. Сушая правда! Истинная правда!

— Объясните же.

— Перед тем как начать строить шпиль, мы постарались отгородить восточную часть храма и совершали богослужения в капелле Пресвятой девы.

— Так обыкновенно и поступают.

— И до времени богослужения не прерывались. Но только вскоре люди почуяли опасность. Когда опоры начали петь, а потом согнулись, никто из причта и из мирян уже не хотел там молиться.

— Значит, потом богослужения в храме не совершались?

Джослин быстро поднял глаза и простер вперед руки.

— Совершались. Если вы вникнете во все сложности, то поймете... Ведь я все время был там. И это как бы заменяло богослужения. Я был там, и они тоже, к вящей славе храма.

— Кто они?

— Строители. Конечно, их становилось все меньше, но некоторые остались до конца.

Визитатор ничего не сказал, но Джослин почувствовал, что его понимают, и продолжал поспешно:

— Я не знаю, чьи имена и печати, кроме одной, стоят на этих грамотах, и жалобы известны мне лишь в самом общем смысле. Знаю только, что я искал людей с непоколебимой верой и звал их за собой, но не нашел ни одного.

Он видел, что Визитатор не ожидал такого ответа и доволен им. Глядя на его дружелюбное лицо, Джослин вдруг почувствовал неудержимое желание объяснить все до конца.

— Люди поступали по-разному. Одни сбежали, другие остались, третьи были обращены в камень. Пэнголл...

— Да. Пэнголл...

— Она вплетена повсюду. Она умерла, а потом воскресла у меня в голове. Она и сейчас там. Я не могу от нее отделаться. Раньше она не жила, то есть жила, но не так, все было совсем по-другому. И о нем я должен был бы знать раньше, понимаете, извлечь это из-под свода, из подвалов моего ума. Но конечно, все это было неизбежно. Как и деньги...

— Да, поговорим о деньгах. Это ваша печать? И вот это?

— Кажется, моя. Да.

— Вы богаты?

— Нет.

— Как же все это будет оплачено?

— Точно так же, как Он укрепил опоры и ниспослал нам Гвоздь.

И снова потусторонняя песня, провал в памяти, давящая громада... Он равнодушно смотрел, как, бесшумно ступая, вернулся писец и к свидетельскому месту рядом с ним приблизился отец Безликий. Он слышал, как бесы скребутся и стучат в окна. Лихорадочно напрягая мозг, он

соображал, как бы поскорее подняться на шпиль и опередить их.

— Милорд, пока мы тут разговариваем, шпиль может рухнуть. Позвольте мне отнести Его и вбить!

Визитатор пристально смотрел на него из-под густых бровей.

— Вы думаете, если не будет гвоздя, шпиль может...

Джослин поспешно поднял руку и остановил Визитатора. Нахмуясь, он пытался уловить песню, которая дрожала так близко, на грани памяти, но она растаяла, и Ансельм тоже растаял. Джослин поднял глаза на Визитатора, который со странной улыбкой откинулся на спинку стула.

— Милорд настоятель, право, я восхищен вашей верой.

— Моей?

— Вы говорили о женщине. Кто она? Пресвятая дева?

— Нет! Отнюдь! Никоим образом. Это жена его, Пэнголла. Понимаете, с тех пор как я нашел ягоду омелы...

— Когда это было?

Вопрос был острым и твердым, как грань камня. Он видел, что все семеро замерли и смотрят на него пристально, серьезно, словно судят его.

«Вот оно что, — подумал он. — И как это я сразу не понял? Меня судят».

— Не знаю. Забыл. Очень давно.

— Вы сказали, что некие люди были «обращены в камень». Как это понять?

Он обхватил голову руками, закрыл глаза и стал раскачиваться из стороны в сторону.

— Не знаю. Для этого нет слов. Столько сложностей...

Наступило долгое молчание. Наконец он открыл глаза и увидел, что Визитатор снова откинулся назад и дружелюбно улыбается.

— С вашего позволения, милорд настоятель, мы продолжим. Эти люди, которые остались с вами до конца... Вы утверждаете, что они праведники?

— О да!

— *Праведники?*

— Истинные праведники, уверяю вас!

Но на длинном столе уже переворачивались листы. Визитатор взял один и начал читать бесстрастным голосом:

— «Убийцы, головорезы, разбойники, смутьяны, насильники, явные прелюбодеи, содомиты, безбожники и гораздо худшие злодеи».

— Я... Нет, нет!

Визитатор смотрел на него поверх листа.

— И это праведники?

Джослин стукнул себя кулаком по левой ладони.

— Они отважные!

Визитатор вдруг недовольно засопел. Он бросил лист поверх кучи других.

— Милорд. Как все это понять?

Джослин благодарно ухватился за этот прямой вопрос.

— Сначала все было так просто. Люди способны видеть в этом лишь позор и безумие — они называют это «Джослиновым безумством». Но мне было видение, ясное и непреложное. Все было так просто. А дальше начались сложности. Сначала только зеленый росток, потом цепкие усики, побеги, ветки, и наконец все поглотила суета, и я не знал, что мне делать, хотя готов был принести себя в жертву. А потом он и она...

— Расскажите о видении.

— Оно записано у меня в книжке, эта книжка в сундуке, на самом дне, в левом углу. Если нужно, можете прочитать. Скоро я произнесу проповедь... в соборе, на средокрестии будет новая кафедра, и тогда все...

— Вы хотите сказать, что видение побудило вас строить шпиль, сделало это неотвратимым?

— Да, именно.

— И это видение... или, может быть, следует назвать его откровением?

— Я не учен. Простите.

— И это видение неизбежно повлекло за собой все остальное?

— Именно так, именно.

— Кому вы в этом исповедались?

— Своему духовнику, разумеется.

Бесы, хоть и незримые, были тут, за окнами. Джослин с нетерпением посмотрел на Визитатора.

— Милорд. Пока мы здесь...

Но Визитатор поднял руку. Писец на левом конце стола объяснил:

— Это Ансельм, милорд. Ризничий.

— Тот самый, который так печется о свечах? Это он ваш духовник?

— Он был моим духовником, милорд. И ее. Вы только представьте себе, как это тяжело — знать и не знать!

— Но потом вы сменили духовника? Когда?

— Я... Нет, милорд.

— Стало быть, он и сейчас ваш духовник, если только вы вообще исповедуетесь?

— Да. Пожалуй.

— Милорд настоятель, когда вы в последний раз были у исповеди?

— Не помню.

— Месяц назад? Год? Два?

— Я же говорю, не помню!

Вопросы давили и сковывали его, неправые вопросы, на которые не было ответа.

— И все это время вы чуждались равных вам по духу и жили среди людей, которые, сколько нам известно, погрязли в грехах?

Этот вопрос встал перед ним, как огромная гора. Он увидел, на какую высоту должен взобраться его ум по шатким стремянкам, чтобы дать ответ, и приготовился снова лезть вверх. Он встал, подхватил правой рукой подол рясы, пропустил его между ногами, скрутил жгутом и заткнул за пояс.

Все семеро тоже встали. Но они были недвижны в сравнении со святыми, которые с грохотом прыгали на окнах.

Визитатор медленно сел. Он снова дружелюбно улыбался.

— Вы измучены трудами, милорд. Мы продолжим наш разговор завтра.

— Но пока мы тут теряем время, там, за окнами, они...

— Властью, данною мне этой печатью, я приказываю вам удалиться к себе.

Он сказал это ласково и мягко, но, когда Джослин взглянул на печать, он сразу понял, что ответить нечего. Он повернулся, и семеро поклонились ему, но он сказал себе: «Теперь уж незачем кланяться!» Он шел по звонкому мозаичному полу, и отец Безликий не отставал от него ни на шаг. Дверь затворилась, а в аркаде стояли равные ему по духу. Они подросли немного, но все-таки были совсем маленькие. Он прошел через их ряды, провожаемый взглядами, и сразу забыл о них.

У западной двери он прислушался и вгляделся, стараясь понять, что творят бесы со стихиями. Бесы вырвались на волю или вот-вот вырвутся, но все равно они уже сделали свое дело. Ветер перешел с юго-востока на восток, и по эту сторону собора, у стены, было затишье. Струи дождя не хлестали здесь, вода падала лишь из водостоков, извергалась из каменных ртов и заливала мощеную дорожку у ступеней. Но несмотря на этот потоп, небо было высокое и светлое, нити облаков словно переплетались друг с другом. Дождь шел не из видимых облаков. Он словно рождался из воздуха — как будто воздух был губкой, из которой во все стороны брызгала вода.

Отец Безликий был рядом.

— Пойдемте, милорд.

Плащ окутал плечи Джослина.

— Надвиньте капюшон, милорд. Вот так.

Локоть ему сжали, спокойно, уверенно.

— В эту сторону, милорд. Сюда.

Когда они отошли от стены, ветер набросился на них и погнал к дому. Они поднялись в спальню Джослина, он сбросил плащ на руки священнику и застыл на месте, глядя в пол. Петля все так же стягивала ему грудь.

— Я не засну, пока дело не завершено.

Он повернулся к окну и увидел, что дождь хлещет в стекло как из ведра. Он чувствовал, как за спиной его ангел борется с дьяволом.

— Ступайте сию же минуту. Скажите им, что нужно вбить Гвоздь немедленно, иначе будет поздно. Я должен опередить...

Он закрыл глаза и сразу почувствовал, что не может молиться. Снова открыв глаза, он увидел, что отец Безликий мешкает.

Он резко приказал ему идти.

— Вы пока еще обязаны мне повиноваться. Ступайте!

Когда он опять поднял глаза, маленький священник исчез. Он принялся шагать из угла в угол. «Как только я вобью Гвоздь, — подумал он, — шпиль и ведьма перестанут меня преследовать. Быть может, когда-нибудь я узнаю, как она была порочна, да, порочна. Но сейчас главное — шпиль!.. И Гвоздь».

Он подошел к окну, но ничего не увидел сквозь капли, которые прыгали, метались по стеклу и вдруг исчезали, словно чья-то рука срывала их оттуда. Он ждал известий, но никто не приходил. «Я назвал себя дураком, — подумал он, — и даже не подозревал, как я прав. Надо было пойти самому — зачем я здесь?» Но он все стоял у окна, стиснув руки, шевеля губами, а там, снаружи, ползли сумерки и ревел ветер. Когда прямоугольник окна потускнел, он почувствовал, что ноги уже не держат его; тогда он лег на кровать, не раздеваясь, и ждал. Вдруг он услышал грохот и треск где-то над крышей своего дома и подскочил. Больше он не мог лежать, а приподнялся на локте в густой темноте и вслушивался. Сто раз он видел, как шпиль рушится, сто раз слышал, как он рушится, а потом гроза врывалась и начинала бушевать в нем, разламывая голову. Он пробовал задремать, но не мог отличить сон от яви — все было кошмаром. Он пробовал думать о другом, но лишь убедился, что шпиль прочно стоит у него в голове и ни о чем ином он думать не может. Иногда ветер ненадолго стихал, и сердце его вздрагивало от радости, но ветер налетал снова и бил в окно, как тяжелый молот, а потом рев его стал непрерывным.

Джослин задремывал и пробуждался. Среди ночи в окно ворвался

ослепительный свет, и он весь сжался в комок, но гром потонул в реве ветра. А потом что-то снова грохотало над крышей и сыпалась черепица. Он подумал, что если будет смотреть в окно, то при вспышке молнии увидит, цел ли шпиль, сполз с постели и подошел к окну. Но когда снова вспыхнула молния, он увидел лишь, что окно выходит совсем не туда, куда надо; тогда он повернулся и наконец разглядел темный четырехугольник. Он придвинулся к окну вплотную, прижался к стеклу лицом, вслушиваясь в клочкотание воды, и тут снова вспыхнула молния. Вспыхнула и мгновенно погасла. Она полоснула болью по глазам, и, даже когда он закрыл лицо руками, свет померк не сразу, переходя в зеленое зарево. Он знал, что громада, которая высилась среди света, — это башня, но не мог сказать, какой она формы, накренилась ли она и есть ли на ней шпиль. Он ощупью добрался до кровати и лег. Он лежал ничком и, отгоняя все прочие мысли, старался думать о давних временах, когда он был счастлив, — о временах, проведенных на солнечном берегу моря с отцом Ансельмом, который наставлял послушников, или, вернее, одного послушника; а потом он снова встал и долго стоял у окна. Но теперь молния вспыхнула далеко за собором, и ему показалось, будто вся черная бесформенная громада устремилась прямо на него. Тогда он снова лег и сам не знал, забылся ли он сном или просто лишился чувств.

Он выбрался из глубокого колодца. Над колодцем, как пелена, висел глухой шум; но не это заставило его подняться наверх. Раздавались еще и другие звуки — пронзительные крики, похожие на птичьи. И он вдруг проснулся и понял, где он, а в комнате плавал невыразимо тусклый свет. Крики доносились с лестницы. Он скатился с кровати и бросился к дверям.

— Я здесь! Мужайтесь, дети мои!

Но голоса рыдали и взвизгивали:

— ...ныне и в смертный час...

— Отец!..

Он крикнул с лестницы:

— Вам не будет вреда!

Какие-то руки хватили его за ноги, тянули за подол рясы.

— Город рушится!

— ...всю крышу дома на кладбище, и разнесло вдребезги...

Он крикнул сверху:

— А шпиль?

Руки ползли все выше по его телу, чья-то борода ткнулась ему в лицо.

— Он рушится, преподобный отец. Еще с вечера от парашета отваливались камни...

Он попятился, метнулся к окну и стал бессмысленно скоблить пальцами тусклую муть, словно мог стереть ее, как краску. Потом он снова выбежал на лестницу.

— Сатана вырвался на волю! Но вам вреда не будет!

— Помоги нам, преподобный отец! Молись за нас!

И тогда в серой мгле, среди мелькания рук и рева ветра, он понял, что должен сделать. Он ринулся вперед, растолкал всех, вырвал подол рясы, стряхнул руку со своего локтя. И вот он уже на свободе, а под ногами у него каменные ступени. Он добрался до прихожей, до двери со щеколдой. Он ощупью поднял щеколду, и дверь с грохотом распахнулась, отшвырнув его назад, к дальней стене. Тогда он пополз стороной, прячась от ветра, и с трудом встал на пороге. Ветер снова отшвырнул его, он ударился о стену и распластался на ней, тяжело дыша. А потом поднялся, шагнул вперед, но ветер снова набросился на него и снова выпустил, и тогда он упал на четвереньки; он промок до костей, словно окунулся в реку. Смутная мысль, что теперь он трудится точно так же, как строители, мелькнула у него, и он рванулся по дорожке к кладбищу. Горсть осколков ударила в лицо, обжигая, как крапива. Он укрылся за холмиком с деревянным крестом; ряса хлестала его по ногам, и он заткнул подол за пояс. Откуда-то сорвалась доска и ударила его в бедро, причинив жестокую боль.

Он приподнял голову над спасительным холмиком и взгляделся в серый туман: и в этот миг сатана в образе дикой кошки, огромной, как вселенная, припав у горизонта на все четыре лапы, прыгнул с северо-востока и с визгом обрушился на Джослина и на его безумство. Плащ лопнул у ворота и улетел прочь, трепеща черными крыльями, как ворон, но Джослин крепко держался за крест. Он решил перехитрить дикую кошку, подождать, пока она притомится. А потом он пополз от могилы к могиле, хватаясь за кресты и укрываясь за холмиками, добрался наконец до самого надежного укрытия — западной стены собора, скользнул за дверь и привалился к ней спиной, хватая ртом воздух. В первый миг ему показалось, что собор полон людей. Но потом он понял, что огоньки свечей плывут лишь у него в глазах, а пение — это голоса всех бесов, вырвавшихся из ада. Они кишели в темной вышине, стучали, гремели, бились в окна, одержимые неистовой яростью, и под их ударами большое окно над западной дверью трещало, как парус. Они кидались на Джослина, но он обращал на них не больше внимания, чем на простых птиц, потому что уже не был себе хозяином, а, повинаясь иной воле, бодрствовал и спал одновременно. «У-у! У-у! — завывали они. — А-а-а-а! А-а!» — и хлестали его чешуйчатыми крылами, а потом взмывали и бились о поющие опоры, об окна и свод, который весь

содрогался; его ноги бежали через полутемный неф, и он слышал, как кто-то, быть может он сам, вторит этим жутким крикам. Он слышал, как стонали аркады, напрягая свои каменные плечи. Когда он добежал до покинутого престола, разъяренные бесы стали прыгать на него с купола. Он нашарил на престоле серебряный ковчежец и грубо схватил его, как будто там был самый обыкновенный гвоздь. В одном трансепте что-то грохнуло, загремели и задребезжали камни, а из другого трансепта донесся удар и льдистый звон стекла. У винтовой лестники бесы набросились на него, но он отбился от них Гвоздем. Он лез вверх, и сердце рвалось у него из груди, глаза же, пока он добрался до основания башни, почти ослепли от плясавших перед ними ярких огней. И уши оглохли, потому что тихие сетования шпиля превратились в крики, вопли и рев торжествующего сатаны, они, словно черный туман, поглотили весь мир. Камни и бревна уже не просто покачивались. Они кренились так, что его швыряло из стороны в сторону, и он цеплялся за стремянки, как моряк за мачту. Где-то рядом, сквозь рев, что-то непрерывно трещало и падало. В деревянной клетке на верху башни пол был густо усеян каменными обломками, и по этим обломкам он добрался до первой стремянки внутри шпиля. Слева от себя он увидел, как один из бесов медленно разевает и захлопывает серую пасть рассвета. А потом он в темноте, зигзагами, взбирался по стремянкам — конец одной был оторван и повис в воздухе, другая согнулась и гудела, как струна. Сквозь тьму сыпались осколки, они царапали и кололи его, ангел жег и давил ему спину, а он, завернув ковчег в подол рясы, лез все вверх, вверх, в тесноту каменной трубы, и чувствовал, как бревна бьются о каменную кожу, а потом наконец втиснулся в последнее пространство, где все кончалось, ощупью открыл ковчежец, сорвал покров, уперся локтем и коленом, зажал Гвоздь между пальцами по-плотнически и стал бить по нему непрочным серебряным ковчежцем, вгоняя его в дерево вслепую, на ощупь, и все бил, бил...

Грохот, который бушевал на шпиле, и самый шпиль исчезли из его головы. Джослин выронил ковчежец и не слышал, как он падал, прыгая из стороны в сторону. Он начал медленно спускаться со ступени на ступень. Хватаясь за перекладины, он чувствовал, как дрожит его рука, и, не в силах унять эту дрожь, припадал к стремянке всем телом. До винтовой лестники он добрался уже ползком.

Неф по-прежнему был во власти бесов, зато шпиль стал теперь для них недоступен. Но сам Джослин чувствовал себя беззащитным. Ангел покинул его, и дьявольское обольщение стискивало его, словно горячая рука. Он чувствовал, что погружается в бездонные воды сна, и не в силах

был этому противиться. Он сполз с лестницы в серую полутьму галереи, лег ничком на растресканные камни, и все вокруг словно осиял тихий свет. Бесы уже не визжали, а пели. Они пели тихо и не знали милосердия. И в его голове они обернулись людьми.

Он сказал растресканным камням:

— Я вбил Гвоздь. Если бы не было Гвоздя, вы могли бы обрушиться!

Но бесы потихоньку окружили его и явили ему видение, которое приближалось к нему со всех сторон. Он вдруг увидел залитый светом двор собора, где в тени вязов густо росли маргаритки. Там плясали бесы, три бесенка в образе маленьких, прелестных девочек. И он сам приблизился к ним, ступая по длинной полосе тени. Они плясали, хлопали в ладоши и пели:

Не было гвоздя — подкова пропала,
Не было подковы — лошадь захромала,
Лошадь захромала — командир убит,
Конница разбита — армия бежит,
Враг вступает в город, пленных не щадя... [\[6\]](#)

И он услышал свой собственный веселый и еще молодой голос, который подхватил:

— *Потому что в кузнице не было гвоздя!*

Поди сюда, дитя мое.

Она приблизилась к нему по зеленой траве, а остальные два бесенка исчезли, и он стоял, глядя на нее, восхищенный ее невинностью и красотой. Он услышал свои ласковые, робкие слова, полные недоумения, увидел, как она нетерпеливо переминается, прячет руки за спину, и ее рыжие волосы встрепаны, и она почесывает ногой тонкую ногу, услышал, как она ответила в своей беспредельной наивности:

— Да ведь мы же просто играем, отец мой!

Над этим неземным миром синело ясное небо, здесь царило смирение и не было греха. Она шла к нему, обнаженная, распустив рыжие волосы. Она улыбалась и мычала пустым ртом. И он знал, что это мычание объясняет все, исцеляет всякую боль и ничего не оставляет сокрытым, потому что в этом — сущность неземного. Он не видел бесовского лица, потому что и в этом тоже была сущность неземного, но он знал, что она

здесь и устремляется к нему всем своим существом, как и он к ней. Его захлестнула волна невыразимой нежности, и волны набегали одна на другую, и с ними пришло искупление.

А потом все исчезло.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В себя он приходил медленно. Щека его лежала на растресканных камнях, и некуда было спрятаться от дневного света. Но даже открыв глаза, он долго не мог пошевелиться, только взгляд не был скован. Он послал взгляд вдоль длинной галереи и отыскал знакомую могильную плиту. Он стал внимательно рассматривать ее дюйм за дюймом, словно хотел заполнить время, боясь, как бы его не заполнило что-нибудь худшее. Но это не помогло, и ничто не могло помочь. В конце концов, беспомощный и покинутый, он оказался во власти своего прозрения, как в тисках.

Только теперь он заговорил.

— Ну, конечно. Я должен был знать. Должен был понять.

В соборе раздался шум — где-то стукнула дверь, слышались голоса. Он встал и заковылял к средокрестию. У опор он услышал крики. Подбежали два сторожа, за ними поспешал отец Адам. Джослин ждал священника, уронив голову и руки.

— Чего от меня хотят?

— Пойдемте. Она ждет.

— Она?

Но, спросив это, он сразу вспомнил, что она умерла; а ждет Элисон, которая во что бы то ни стало хочет покоем в соборе.

— Я поговорю с ней. Наверное, она кое-что знает. В конце концов, в этом была ее жизнь.

Они вместе прошли через неф, и сторожа не отставали от них. В углу, где он обычно видел ее, кто-то стоял, и сердце его дрогнуло; но это был немой юноша, теперь он даже не мычал. Джослин знал, что позор покрыл и немного, поэтому он отвернулся к двери, куда его вели.

На дворике, перед своим домом, он остановился.

— Мне еще можно войти?

— Да, это разрешено. Пока.

Он кивнул и поднялся по знакомым ступеням. Но зала переменилась, как переменилось многое. В камине пылал огонь, повсюду горели восковые свечи, как на алтаре, у камина лежал ковер и стояли два стула. Джослин едва различал стулья, потому что свечи слепили ему глаза, и он подумал о том, как похожи эти свечи на яркие огни, которые иногда плыли перед его глазами. Но все равно у него не было времени рассмотреть все перемены, потому что на стуле, по другую сторону камина, сидела женщина и другие

женщины стояли у нее за спиной. Когда он подошел к ковру, она встала, преклонила колени и, поцеловав ему руку, тихо сказала:

— Преподобный отец! Джослин!

А потом вдруг вскочила, обернулась к остальным и затараторила:

— Горячую воду, полотенца, гребень...

Он поднял руку и остановил ее.

— Это ни к чему.

Помолчав, он взглянул на женщин.

— Пускай они нас оставят.

Тени женщин уползли прочь; когда они исчезли, она взяла руку Джослина, легонько сжала и усадила его на стул; он чувствовал левым боком приятное тепло камина. Она была маленькая, почти как ребенок, и, даже когда он сидел, ее лицо было лишь чуть выше его глаз. Она посмотрела куда-то поверх его плеча.

— Племянник, но и ты отошлешь своего священника?

— Нет, он останется. Я под его надзором. И все равно нам нельзя быть наедине.

Она засмеялась ему в лицо:

— Благодарю за любезность.

Но он не понял ее, да и не пытался понять. Она серьезно кивнула, словно знала это.

— Я и забыла, какой ты провинциал.

— Я?

Провинциал. Тот, кто живет в провинции, в глуши, и не видит дальше своего носа.

— Может быть.

Но он мог рассмотреть ее лицо, которое было совсем рядом, томное, почти такое же блестящее и гладкое, как жемчуга, украшавшие ее черные волосы. Ну конечно, волосы у нее черные или были когда-то черными. Он рассматривал ее тонкие, выгнутые брови, заглядывал в выпуклые черные зрачки. Она засмеялась, но он с досадой остановил ее:

— Молчи, женщина!

Теперь она стояла перед ним с покорной улыбкой. Черное праздничное платье. На шее тоже жемчуга. Рука — она словно угадала его желание и поднесла руку к его глазам — пухлая и белая. Лицо, заслоненное рукой — и она, словно опять угадав его желание, убрала руку, — улыбающееся, пухлое, как и рука, чуть излишне полное. Крошечный рот, нос с горбинкой. Веки темные, блестящие, она их, наверное, красит, ресницы длинные, густые, на них повисли прозрачные капли.

— Сестра моей матери...

Улыбающееся лицо исказила гримаса, капли упали с ресниц. Но голос прозвучал легко и беспечно:

— Непутевая сестра...

Она сделала быстрое движение, и в руке у нее оказался белый лоскут.

— Пускай хоть так...

Она наклонилась к нему, и на него вдруг повеяло весной, и он зажмурился от этого дурманящего запаха. Сквозь сутолоку воспоминаний он почувствовал, как белый лоскут коснулся его лица и оставил следы на веках, почувствовал руку у себя на голове. И снова услышал ее тихий голос.

— В конце концов даже такие...

Он открыл глаза, ощущая весенний аромат, а она все возилась с ним. Теперь ее лицо было совсем близко, и он видел, какое оно изнеженное, холеное. Только вблизи можно было разглядеть на гладкой коже тоненькие лучики. Она не позволяла своему лицу ни полнеть, ни худеть сверх меры, это было видно по глубоко обозначенным бороздкам возле глаз и по спокойному лбу, который она отстояла от морщин. Она то и дело меняла выражение лица, отстаивая его, не давая ему одрябнуть, обвиснуть.. Только глаза, маленький рот и нос были так несокрушимы, что их не приходилось отстаивать. Он почувствовал смутную жалость к этому лицу, но не знал, как ее выразить, и пробормотал только:

— Спасибо, спасибо.

Наконец она оставила его в покое, перешла через ковер, унося с собой запах весны, повернулась и села лицом к нему.

— Ну, племянник?

И он вспомнил, что она приехала вовсе не для того, чтобы отвечать на его вопросы, ведь она добивается своего. Он потер висок.

— Вы писали мне насчет погребения в соборе, но я...

Она всплеснула руками и воскликнула:

— Нет, нет! Не надо об этом!

Но он уже заговорил деловым тоном:

— Теперь, вероятно, это будет зависеть не от меня, хотя пока еще ничего не известно. Отец Адам...

Он повысил голос:

— Отец Адам!

— Да, преподобный отец? Я вас не слышу. Может быть, мне подойти ближе?

«Что я хотел спросить у него? Или у нее?»

— Нет, не надо.

Огонь плясал у него в глазах.

— Да нет же, Джослин! Я приехала потому, что беспокоилась... беспокоилась о тебе. Поверь!

— Обо мне? О провинциале?

— Тебя знают по всей стране. И даже по всему миру.

— Ваш прах может в некотором смысле, я прошу прощения, осквернить храм.

И тут он увидел, как мгновенно она может вспылить.

— А сам ты его не осквернил? А эти люди? Это запустение? И этот каменный молот, который висит над головой и ждет своего часа?

Он ответил кротко, глядя в огонь:

— Женщине это нелегко постигнуть. Поймите, я был избран. И с тех пор я всю жизнь искал свое предназначение, а потом исполнил его. Я принес себя в жертву. И надо судить очень, очень осторожно.

— Избран?

— Я уверен, вы получите здесь место для погребения. Но сам я едва ли согласился бы на это.

— Избран?

— Да, богом. Ведь, в конце концов, избирает бог. А я избрал Роджера Каменщика. Он один мог это исполнить... он — и никто другой. Остальное последовало неизбежно.

Услышав ее смех, он вздрогнул и поднял глаза.

— Слушай, племянник. Ведь это я тебя избрала. Нет, ты послушай меня. Дело было не в Виндзоре, а в охотничьем замке. Мы с ним отдыхали в постели после трапезы...

— Но при чем здесь я?

— Я услаждала его, и он захотел сделать мне подарок, а у меня было все, чего желала душа...

— Я не хочу слушать.

— Но я была счастлива и поэтому великодушна, и в голову мне пришла мысль. Я сказала: «У моей сестры есть сын...»

Она снова улыбалась, но теперь уже печально.

— Правда, я готова признать, что мною двигало не только великодушие. Она была такая набожная, постная и вечно меня... Ну ладно, пускай это было наполовину великодушие. Потому что ведь ты в нее, такой же упрямый, злой...

— Женщина... Что он на это сказал?

— Ах, Джослин, сядь, прошу тебя! Мне действует на нервы, когда ты

стоишь, нахохлившись, как птица под дождем. Мне кажется, в ту минуту я немного злорадствовала.

— *Что он сказал?*

— Он сказал: «Мы сунем ему в рот лакомый кусочек». Так и сказал. Невзначай. Тогда я и говорю: «Он послушник в каком-то монастыре». И тут я захихикала, и он захохотал, и мы схватили друг друга в объятия и стали кататься по постели — ну, скажи сам, разве это было не смешно? Мы оба были молоды. Нам это понравилось. Джослин...

Он увидел, что она стоит подле него на коленях.

— Джослин! Не все ли равно? Ведь в этом жизнь.

Он сказал хрипло:

— Все, что я сделал... — Он помолчал. — Я был уверен, что принес свою жизнь в жертву во имя великого дела. Быть может, это и есть неисповедимый путь свершения. Ведь Гвоздь у нас...

— Какой гвоздь, племянник? Ты говоришь так туманно!

— Наш епископ Вальтер прислал из Рима...

— Я знаю Рим. И епископа Вальтера.

— Ну вот, теперь вы сами видите. При чем тут я? Только шпиль имеет значение, потому что... потому что...

— Почему же?

— Это выше вашего понимания. Он прибил его к небу. Слепой глупец, я просил денег. А он сделал лучше.

«Ну вот, — подумал он. — Вот и все». Но нет, он снова услышал ее задышающий голос:

— Ты просил у него денег, а он прислал гвоздь!

— Именно так.

— *Вальтер!*

Она засмеялась, и смех кругами поплыл вверх, а потом у нее перехватило дыхание, и сквозь тишину в его ушах раздалось пение опор. Ни ясных мыслей, ни доводов не было в его голове; подступила дурнота, и все его тело содрогалось. А потом дурнота захлестнула его.

Он почувствовал, что она схватила его за руки.

— Джослин! Джослин! Ничего не надо принимать так близко к сердцу.

Он открыл глаза.

— Ты должен верить, Джослин!

— Верить?

— Да, да. Верь в свое... в свое призвание... и в гвоздь...

Она трясла его за плечи.

— Послушай меня. Послушай же! Я не сказала бы тебе, если б не...

— Это неважно.

— Ты что-то хотел спросить у меня. Подумай, соберись с мыслями. Что ты хотел спросить?

Он взглянул ей в глаза и прочел в них страх.

— Что может значить...

Тут он подумал, что оба они, как дети, загадывают друг другу загадки, и не мог удержать визгливого смеха.

— Да, теперь я вспомнил. Что может значить, когда человек думает лишь об одном — и не о дозволенном, не о предписанном, но о запретном? Тоскуешь и вспоминаешь, радостно и в то же время с тайным мучением...

— Но о чем же?

— А когда они умирают... а они умирают, да, умирают... припоминаешь то, чего никогда не было с ней...

— С ней?

— Ясно видишь ее, каждую черточку, среди неземного... видишь только ее одну... и знаешь, что это неизбежно следует из того, что было прежде...

Она прошептала над самым его ухом:

— И это случилось с тобой?

— Мне нет ни минуты покоя. И в этом — неизбежность. — Он серьезно посмотрел на нее и сказал прямо ей в лицо: — Вы, конечно, это знаете. Скажите мне. Больше я ничего не хочу. Это колдовство, да? Это *непременно* должно быть колдовство!

Но она отодвинулась, отшатнулась от него, встала, перешла через ковер. И оставила за собою жуткий шепот:

— Да. Колдовство. Колдовство.

Она куда-то исчезла, а он все сидел и торжественно кивал огню.

— Это предопределено. И многое еще будет погублено. Да, многое.

Он вспомнил об отце Адаме, который стоял поодаль, в тени.

— А вы что скажете?

— Ее путь ведет прямо в ад.

Он выбросил ее из головы, и она исчезла навсегда, словно капля канула в реку.

— Повсюду суета.

Стало тихо, а потом отец Адам сказал:

— Вам надо уснуть.

— Мне теперь уж никогда не уснуть.

— Пойдемте, отец мой.

— Нет, я буду ждать здесь. Это предопределено, и не все еще кончено.

И он все сидел, глядя, как бесчисленные искры роятся над огнем. Иногда он говорил, но совсем не отцу Адаму:

— И все-таки он стоит.

Потом он начал стонать и раскачиваться. А много времени спустя вскочил и воскликнул:

— Какое кощунство!

Прошли часы, в камине остались лишь угли, и тогда он снова заговорил:

— Есть родство меж людьми, которые хоть раз сидели подле угасающего огня и мерили по нему свою жизнь.

В окна просочился рассвет, бледнея вокруг оплывших свечей. А когда последняя искра в камине угасла, явился посланец. В нем была непоколебимость веры, он мычал и манил за собой. Джослин медленно встал.

— Отец мой, вы позволите мне пойти?

Страж тихонько покачал головой.

— Мы пойдем вместе.

Джослин потупился и уже не поднимал глаз, пока они под затихающими порывами ветра шли к дверям собора. В нефе все было без перемен, и Джослин сказал немому, не глядя ему в лицо:

— Покажи нам, сын мой.

Немой, осторожно ступая на носках, повел их к юго-восточной опоре, показал небольшое отверстие, которое пробил в ней, и так же на носках ушел. Джослин понял, что он должен сделать. Он вытащил из отверстия треугольное долото, взял с пола железный щуп и всадил его в опору. Щуп уходил все глубже, глубже и со скрежетом пронзил каменную труху, которую исполины, жившие на земле в далекие времена, засыпали в опору.

И тут все слилось. Его душа ринулась вниз, в бездну, которая была внутри него, — туда, в бездну, отвергни или прими, уничтожь меня, обрати в камень вместе с остальными; в тот же миг тело его тоже ринулось вниз, и он коленями, лицом, грудью рухнул на камни.

И тогда его ангел простер крыла, которыми закрывал свои раздвоенные копыта, и вытянул его по всей спине раскаленным добела цепом. Жгучий огонь опалил ему хребет, и он вскрикнул, потому что не мог этого вынести и все же знал, что должен вынести. А потом чьи-то неловкие руки пытались его поднять, но он не мог сказать им про цеп, потому что всем телом обвился вокруг опор, как раздавленная змея. Тело кричало, руки силились поднять его, а Джослин лежал внизу под каменной грудой и знал теперь, что по крайней мере одна истовая молитва услышана.

Когда боль схлынула, он почувствовал, что его бережно уносят от жертвенника. Он лежал на спине, которой у него не было, и ждал. Ангел с цепом не в силах был сделать большего; нет, большего не могло принять тело, как ни жаждала этого душа. И теперь спины просто не было, пришло совершенное бесчувствие.

Его положили на кровать в спальне, и он видел над собой каменные ребра потолка. Иногда ангел покидал его, и он обретал способность думать.

«Я отдал спину великому делу.

Ему.

Ей.

Тебе, Господи».

Иногда он шептал с досадой:

— Неужели рухнул?

Человек, похожий на деревянную куклу, успокаивал его:

— Нет еще.

В один из дней голова его несколько прояснилась и пришла мысль:

— Сильно ли он поврежден?

— Я помогу вам сесть, отец мой, и вы сами увидите в окно.

Он завертел головой на подушке.

— Не хочу на него смотреть.

Стало темней, и Джослин понял, что отец Адам подошел к окну.

— На первый взгляд кажется, будто он невредим. Но он слегка накренился и угрожает аркадам. Он развалил парапет башни. Много камня разбито.

Он полежал тихо. Потом пробормотал:

— Когда снова поднимется ветер... Когда поднимется ветер...

Деревянная кукла подошла, склонилась над ним и тихо заговорила. Вблизи было видно, что у нее есть некое подобие лица.

— Не надо так тревожиться, отец мой. Конечно, вред немалый, но вы, хоть и заблуждались, строили с верой. Ваш грех невелик в сравнении с прочими грехами. Вся жизнь наша — шаткое здание.

Джослин снова завертел головой на подушке.

— Что вы знаете, отец Безликий? Вы видите только наружность вещей. Нет, вы не знаете и десятой доли.

И тут карающий ангел, который, наверное, стоял рядом с отцом Адамом, ударил снова. Когда Джослин пришел в себя, отец Адам по-прежнему был подле него и говорил так, словно никто их не прерывал:

— Вспомни о своей вере, сын мой.

«Моя вера, — подумал Джослин. — Что она такое?» Но он не сказал

этого лицу, черты которого могли когда-нибудь проясниться. Он только глотнул воздуха и засмеялся.

— Хотите, я покажу вам свою веру? Она у меня здесь, в старом сундуке. Маленькая книжечка в левом углу.

Он помолчал, перевел дух и засмеялся снова.

— Возьмите. Прочитайте.

Послышался шорох, шелестение, стукнула крышка. Потом отец Адам заслонил окно и спросил:

— Вслух?

— Вслух.

«Чернила, наверное, поблекли, — подумал он. — Ансельм тогда был еще молодой, а Роджер Каменщик — совсем мальчишка. А она... И я был молодой или по крайней мере моложе».

В вечерних сумерках закрипел голос отца Адама:

— «К тому времени я уже три года исполнял это служение, и однажды вечером я стоял на коленях у себя в молельне и изо всех своих слабых сил молил Бога избавить меня от гордыни. Потому что я был молод и преисполнен чудовищной гордыни, ослепленный блеском своего храма. Одна лишь гордыня и была во мне...»

— Это правда.

— «Мне было явлено беспредельное милосердие. В своем ничтожестве я стремился, сколько мог, возвыситься духом. Я пожелал воочию увидеть храм непреложно стоящим на моем пути; и это было тем легче, что его стены были видны мне через окно...»

Джослин уже снова вертел головой на подушке. Он думал: «Что это объясняет? Ничего! Ничего!»

— Неужели ничего?

— «Я видел очертания крыши, стен, выступы трансептов, башенки, которые выстроились вдоль парапетов...»

— Неужели это ничего не означало, отец мой?

— «Теперь я знаю, кто и зачем направил туда мой взгляд. Но в то время я еще ничего не знал, я мог только стоять на коленях и смотреть, пока не исполнился равнодушия к тому, что видел. И вдруг сердце мое дрогнуло; должно быть, в нем поднялось некое чувство. Оно крепло, устремлялось все выше и у вершины вспыхнуло животворным огнем...»

— Это правда... верьте мне!

— «...и вдруг исчезло, а я остался, пригвожденный к месту. Потому что в синеве неба я увидел ближнюю башенку; это было истинное воплощение моей молитвы в камне. Оно вознеслось над хитросплетением

суетных мыслей, и с ним вознеслось сердце, ввысь, все тоньше, острее, и на самой вершине вспыхнуло пламя, изваянное из камня, которое я только что созерцал».

— Да, так и было. Вам стоит только обернуться, и вы увидите ту башенку.

— «Дети мои, если уже это поразило мой скудный ум, то как описать чудо, которое свершилось вслед за тем? Я смотрел и все более прозревал. Словно эта башенка открыла передо мной огромную книгу. Словно я обрел вдруг новый слух и новое зрение. Весь храм — а я-то в безумии своей молодости хулил его за то, что он порождал во мне гордыню! — весь храм открылся мне. Весь он заговорил. „Мы труд“, — говорили стены. Стрельчатые окна складывали ладони и пели: „Мы молитва“. А треугольник крыши словно Троица... Но как это объяснить? Я хотел отречься от своего дома, но он возвратился мне тысячекратно».

— Воистину так.

— «Я бросился к дверям и вбежал в собор. А теперь я хочу, чтобы вы поняли меня до конца. Собор предстал передо мной в образе человека, возносящего молитву. А изнутри он был великолепной книгой, в которой начертано наставление для этого человека. Помню, уже наступил зимний вечер и в нефе темнело. Патриархи и святые сияли в окнах; и на всех алтарях в боковых нефах горели свечи, возженные вами. Еще пахло ладаном, и в часовнях звучали голоса священников, служивших мессу... но это вы знаете сами! Я шел вперед — или нет, меня вел мой ликующий дух, и ликование росло с каждым шагом, и я был исполнен твердости и самоотречения. Когда я дошел до опор, мне оставалось лишь пасть на лицо свое...»

— У этих самых опор. Сколько раз с того дня я падал там ниц.

— «Потому что я как бы слился воедино с мудрыми и святыми... или нет — со святыми и мудрыми строителями...»

— Опоры гнутся!

— «Мне стал понятен их тайный язык, такой ясный, видимый всякому, имеющему глаза, чтобы видеть. В тот миг Его поучение о небе и аде лежало передо мной, и я понял то ничтожное место, которое отведено мне Его промыслом. Сердце мое снова устремилось ввысь и воздвигло во мне храм — стены, башенки, покатую крышу — во всей истинности и непреложности; и в этом новообретенном смирении и новообретенном знании во мне забил источник — вверх, в стороны, ввысь, сквозь внепространство, — пламенный, светлый, всеподчиняющий, непреодолимый (да и кто мог, кто посмел бы ему противоборствовать?),

беспощадный, неудержимый, пылающий источник духа, безумное мое горение во имя Твое...»

— О Господи!

— «А вверху, если только слово „верх“ может что-нибудь тут значить, был некий образ, некий дар, в обладании которым несть гордыни. Тело мое покоилось на камнях, мягких как пух, и вмиг, во мгновение ока, оно преобразилось, воскресло, отринув всяческую суету. Потом видение исчезло, но воспоминание о нем, которое было для меня подобно манне, обрело плоть, оно воплотилось в шпиль, в сердце каменной книги, в ее венец, в вершину молитвы!»

— А теперь это уродливая развалина. Ничего похожего... Ничего.

— «Наконец я встал. Свечи горели по-прежнему и ничуть не стали короче, священники служили мессу — ведь по жалкой людской мере протек лишь единый миг. Я шел через неф, и образ храма стоял у меня перед глазами. И вот что я скажу вам, дети мои. Духовное трижды вещественней земного! Только на полпути к своему дому я понял истинный смысл видения. Когда я обернулся, чтобы осенить себя крестом, я вдруг увидел, что собору чего-то не хватает. Он стоял, как всегда, но вершины молитвы, устремленной ввысь из его сердца, если говорить на языке вещей, не было вовсе. И в тот миг мне открылось, зачем Бог привел меня сюда, своего недостойного служителя...»

Скрипучий голос умолк. Джослин слышал, как отец Адам перелистывал чистые страницы. Потом стало тихо. Он закрыл глаза и в изнеможении провел рукой по лбу.

— Да, это мои слова. Когда я пал ниц и принес себя в жертву делу, я думал, что принести в жертву себя — то же самое, что принести в жертву все. Я был глуп.

Отец Адам заговорил снова. Теперь в его голосе появилось что-то новое, в нем звучало удивление и беспокойство.

— И только?

— Я считал себя избранником, сосудом духа и главное — любви, я верил в свое предназначение.

— А за этим неизбежно последовало все остальное — долги, запустение в храме, раздоры?

— И еще многое, очень многое. Вы даже не знаете. И сам я не знаю. Криводушие, нечистая совесть. Во имя дела. И в него вплелась золотая нить... Или нет. Из него произросло дерево со странными цветами и плодами, со множеством побегов, цепкое, хищное, вредоносное, пагубное.

И он сразу увидел это дерево, буйство листвы и цветов, перезрелый,

лопнувший плод. Невозможно было проследить все сплетение его побегов до корня, освободить искаженные страданием лики, которые кричали из путаницы ветвей; он вскрикнул сам и умолк. Он лежал, оберегая спину, стараясь унять боль, которая проснулась во лбу, и неотрывно смотрел на каменное ребро потолка. Только одна мысль была у него, странная мысль:

«Я здесь, но здесь-это значит всюду и нигде».

Когда отец Адам снова заговорил, голос его уже не скрипел. Слова падали, как мелкие камни.

— Стало быть, это все.

Он отошел от окна, и в комнате стало светлее. Он приблизился к кровати и задал непонятный вопрос:

— А можете вы увидеть то, что слышите?

Джослин был нигде, он вертел головой, налитой болью, словно хотел ее стряхнуть. За окном раздались шаги, кто-то весело засвистел, выводя затейливые трели. И он смутно увидел, как этот свист, который звучал у него в голове, исчез за углом.

— Не все ли равно?

— Значит, вы ничему не научились? Раньше, много лет назад?

«Чему я научился? Орел слетел ко мне у моря. И этого было довольно. А потом...»

— Вы слышали, что она сказала. И теперь знаете, как все вышло.

Отец Адам горячо прошептал:

— Лучше было бы повесить им жернов на шею.

«Ну нет, — подумал он. — Слишком это просто, этим ничего не объяснишь. Так не добаться до корня».

А отец Адам сказал с нескрываемым удивлением:

— Значит, вас никогда не учили молиться!

Волосы разметаны веянием духа. Рот раскрыт, но не дождевая вода изливается из него, а осанна. Джослин криво улыбнулся священнику.

— Теперь уже поздно.

Но отец Адам не улыбнулся. Он стоял боком, стиснув руки у груди. Он смотрел сверху вниз, искоса, и под взъерошенными волосами угадывались черты его лица. В голосе его зазвучал страх, словно он наконец увидел древо и цепкий усик скользнул по его щеке.

— Ваш духовник...

— Ансельм?..

«Опять Ансельм, — подумал он. — Получается, что он ни к чему не причастен. Ведь я скрепил все своей печатью». Он сказал в ребристый потолок:

— Послушайте меня, отец Адам. Я догадываюсь о многом, и я любил их всех. Наверное, оттого она и преследует меня. Вы неизмеримо лучше их всех, потому что таких страшных, таких окаянных людей не найти больше нигде, но ведь вы не со мной, вы не запутались, как я, в ветвях древа. Колдовство. Конечно же, это колдовство. Как иначе могли бы она и он быть такой непреодолимой преградой между мною и небом?

Дыхание послышалось над самым его ухом. Он отвел глаза от потолка, от картин прошлого, и увидел, что отец Адам стоит у кровати на коленях. Священник закрыл лицо руками и дрожал всем телом. И слова тоже дрожали меж пальцами, вырывались прерывистым бормотанием:

— Господи, смилуйся надо всеми нами!

Он быстро отнял руки от лица и перекрестился. Потом стиснул край кровати, склонил голову и снова забормотал. Бормотание стало глуше, потом смолкло.

Отец Адам поднял голову. Он улыбался. Джослин сразу увидел, какое это было заблуждение — думать, что у него нет лица. Просто оно было очерчено тонкими, нежными штрихами, которые так легко ускользают от глаза и видны лишь долгому, пристальному взгляду или подневольному взору больного, прикованного к постели.

И неожиданно для себя он крикнул этому лицу:

— Помоги мне!

Эти слова как будто отомкнули замок. Он почувствовал, что дрожит, как дрожал отец Адам. Дрожь отдалась болью в спине и голове, но зато безбрежное море скорби словно простерло мягкую руку, накрыло его и обильно увлажнило глаза. Он дал слезам излиться, не замечая их, потому что это было так ничтожно в сравнении с морем. А потом появилась другая рука, она легла ему на грудь, пальцы сжали плечо. И еще рука ласково гладила его по лицу.

Понемногу дрожь унялась, слезы уже не текли больше. И голос, такой же нежный, как лицо, зашептал:

— Мы начнем сначала. Некогда вам была знакома каждая ступень молитвы, но вы все забыли. И это хорошо. Многие из ступеней не для простых смертных. Это даже вменится вам в заслугу. Низшую ступень составляет словесная молитва. С нее мы и начнем, потому что оба мы подобны детям, а дети начинают с этого...

— А моя молитва, отец? Мое... видение?

Стало тихо. «Черный ангел возвращается, — подумал он. — Я знаю, чувствую его приближение. Скорей, скорей, пока не поздно!»

— А моя молитва? Мой шпиль? То, о чем вы прочли?

Теперь влага выступила у него на коже. Он почувствовал, как рука осторожно откинула волосы с его лба, но он был объят ужасом перед ангелом.

— Скорей!

— За словесной молитвой следует другая ступень, она невысока, и потому восхождение едва заметно. Здесь нам дается поддержка, утешение, отрада. Так мы даем ребенку лакомство за послушание или просто потому, что любим его. Ваша молитва, без сомнения, была хороша, но не очень.

Он вертел головой, пытаясь уйти от неотвратимого. Но из глубины, должно быть от самых корней древа, что-то властно заставило его крикнуть в каменный потолок и в нежное, встревоженное лицо:

— Мой шпиль вознесся превыше всех ступеней, от земли до небес!

И черный ангел ударил его.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Иногда боль стихала, и он снова мог думать. Первым делом он спрашивал у отца Адама:

— Еще не рухнул?

И ответ был всегда один:

— Нет еще, сын мой.

Он снова строил шпиль у себя в голове, доискивался, какой нужен фундамент, чтобы понять, что же ему самому нужно.

— Мне не узнать правды, пока весь собор не разберут, как детскую головоломку.

Но отец Адам, наверное, думал, что он бредит, и молчал. А Джослин, следуя по этой дороге внутри себя, добрался до второй мысли:

— И даже тогда не узнать.

Один раз он послал за Ансельмом и ждал бесконечно долго, глядя в темный потолок, а потом вспомнил, кем он теперь стал. Тогда он послал снова, умоляя Ансельма прийти во имя милосердия. Ансельм пришел, строгий и отчужденный. Вечерело, в комнате уже стояли сумерки, потому что единственное окно выходило на восток и собор заслонял свет. Он услышал, как отец Адам вышел и спустился по лестнице, услышал, как заскрипел под Ансельмом стул. И тогда он посмотрел на него, на его благородную голову, на серебристые волосы над твердым лбом. Но Ансельм не ответил на его взгляд. Он упорно смотрел в окно и молчал.

— Ансельм. Вот я в пустыне.

Ансельм искоса посмотрел на него и сразу же отвел глаза, словно увидел нечто постыдное. Он сказал то, чего и следовало ожидать, но слова его были сухи и так же отчужденны, как его поза.

— Рано или поздно это удел всякого...

«Нет, — подумал Джослин. — Так не говорят с живыми людьми. Он просто не видит меня. Меня нет среди живых, но пусть и это послужит мне уроком...»

— В тяжких муках я возвратился в те далекие дни, когда жил у моря и вы были моим наставником.

Ансельм повернул к нему голову. Он был скован неловкостью; и прозвучали слова, понятные им обоим:

— В краткой жизни сей...

— Жизнь!

Он закрыл глаза, размышляя о жизни.

— Да, знаю. Я заблуждался, когда думал о своей жизни. Но было же это когда-то — я шел через мыс и пришел к вам, своему пастырю, веря, что мы избраны Святым Духом.

Он снова взглянул в потолок. Там сияли песчаные берега и ослепительное море.

— Я прибежал к вам.

Ансельм пошевелинулся. На лице его появилась слабая улыбка, но улыбка была недобрая.

— Вы жались к моим ногам, как пес.

— Как же вам все это вспоминается, Ансельм?

Ансельм снова смотрел в окно. Его щеки покрылись красными пятнами. Голос прозвучал глухо.

— Почему вам, как глупой девчонке, непременно нужно перед кем-нибудь преклоняться?

— Мне?

— Почему вы обратили на меня это... юношеское обожание?

Мысли Джослина путались.

— Я? Разве?

Ансельм сказал очень тихо, очень тоскливо:

— Вы не знаете. Вы никогда не знали, как вы невыносимы. Да, невыносимы.

Джослин облизал сухие губы.

— Я... Я был... не властен в своих чувствах. И неловок.

Скорбь переполняла его, и он подождал, пока она утихнет, а потом сказал в потолок:

— Но вы, Ансельм... Вы-то сами...

Ансельм встал и принялся ходить по комнате. Потом он остановился над Джослином и застил ему свет. Он неловко повернул голову, посмотрел Джослина в глаза и отодвинулся.

— Это было давно. И едва ли что-нибудь значило. А потом... потом произошло все это! Нет. Я больше ничего не могу сказать. Мне было смешно и трогательно. И досадно. Вы все принимали так... близко к сердцу.

— Какое там, близко к сердцу. Вы не понимали, не видели.

Ансельм воскликнул:

— А сами вы что понимаете? Вы целую жизнь висели камнем на шее у меня, у всех нас.

— Мы были избраны для великого дела. Так я думал... А сейчас я не

знаю сам...

— Там мне было хорошо, хоть устав и соблюдался не слишком строго. Но вот вы, словно огромная птица, слетели...

— К наставнику...

— «Я есмь то, что есмь». Но видеть, как легко вы прыгаете со ступени на ступень — служка, дьякон, священник, — видеть вас настоятелем этого собора, хотя вы едва умели прочитать «Отче наш»; подвергнуться искушению, да, искушению, потому что куда голова, туда и хвост, а ведь все мы не святые, это надо признать, и не чужды тщеславия... и вот искушение привело меня на край гибели. Признаюсь в этом от чистого сердца. Я мог бы остаться на своем месте и по мере сил творить добро. Но вы искушали меня, и я ел от запретного плода.

— А потом?

— Потом? Вы сами знаете. Старый король умер, и ваше возвышение прекратилось.

— Да, конечно.

— И после всего я должен был выслушивать ваши исповеди, лицемерные, самовлюбленные исповеди...

Несмотря на слабость, Джослина охватило глубочайшее удивление.

— Но какой же вы тогда священник?

— Вам это должно быть известно. Если угодно, такой же, как вы. Ничтожный. И я сознаю свое ничтожество. А вы? Вспомните Айво, Джослин. Вы сделали мальчишку каноником. Потому только, что его отец дал бревна для шпилья. Вот видите. У него столько же прав в соборе, сколько у вас. Или у меня. Но от него хоть меньше вреда. Он все время на охоте. А вы душили нас, как проклятие. Когда я видел вас, облеченного властью настоятеля, у меня порой сжималось сердце и перехватывало дыхание. И вот еще что я вам скажу. Хотя теперь над нами висит эта каменная глыба, среди каноников мир и согласие, словно бальзам пролился на наши души, потому что нет вас.

— Ансельм!

— Помните, как вы обошлись со мной перед капитулом, когда я возражал против шпилья? Я не забыл. И никогда не забуду. Вы приказали мне при всех: «Сядьте, Ансельм!» Помните? «Сядьте, Ансельм...»

— Не будем об этом. Теперь уже ничего не скажешь и ничего не поправишь.

— А потом эта история со свечами.

— Я знаю.

— И наконец, Джослин, если хотите услышать все до конца —

способы, которыми велась стройка...

— Уйдите, прошу вас.

— Согласитесь, это уж сверх всякой меры — принудить человека в мои годы и в моем сане быть подручным у каменщика.

— Что поделаешь... Простите меня.

— Разумеется, я вас прощаю. Прощаю.

— Я молю... Молю простить меня не за то или другое, не за эти свечи или за обиду. Простите меня за то, что я таков, каков есть.

— Я же вам сказал.

— Но в душе, Ансельм?.. Скажите, что прощаете в душе!

Шаги отзвучали и смолкли на лестнице; а потом надолго наступила тишина.

Тянулись минуты, и наконец вокруг что-то изменилось, какие-то люди заплясали перед глазами, нелепо приседая и кружась. В этой толпе он узнал только отца Адама и снова крикнул:

— Помогите мне, отец мой!

Отец Адам подошел и стал распутывать сплетение вещей. Он тянул и распутывал, но у него ничего не получалось, потому что все так тесно переплелось и посреди всего, над всем, возвышалось зловещее древо. И под конец Джослин ощущал только боль в спине (и опаляющий огонь, когда его переворачивали, чтобы обложить спину овечьей шерстью), да еще скорбь, плескавшуюся от горла до пупа. Отец Адам не заметил, что стало с его руками. но сказал Джослину, что он слаб и поврежден в уме и что надо собрать всю волю. Отец Адам не знал, как необходимо получить прощение от нехристей, как для этого необходимо их понять и как это невозможно.

И тогда Джослину стало ясно, что придется убежать от отца Адама, и он прибег к хитрости. Он ждал ясного дня, а ясные дни, когда светлые блики солнца лежали на полу и Джослин отчетливо понимал, где он и что с ним, выпадали редко. Дождавшись такого дня, он притворился, будто изнемог и уснул, а сам прислушивался к шарканью отца Адама. Он украдкой открыл один глаз и увидел, как сухая спина священника исчезла на лестнице. Тогда он собрал все силы, спустил ноги с кровати, встал и выждал, пока пройдет слабость. Потом он дошел до двери, держась за стену, напялил скуфью на встрепанные волосы, накинул на плечи плащ. Колени у него дрожали от слабости, и когда он сполз с лестницы, то увидел, что внизу пусто. Там не было уже ни огня в камине, ни свечей, но в окна щедро вливался свет, на стеклах трепетали тени. И еще в воздухе веяло свежестью, которая всколыхнула скорбь в его груди. Среди дров в камине он отыскал палку и оперся на нее.

Он постоял, подумал. «Если выйти через заднюю дверь, он меня не увидит; а я не увижу этот каменный молот».

За дверью, среди высокой, буйной травы, была поленница. Благоухание ошеломило его, он прислонился к поленнице, забыв о больной спине, и ждал, пока скорбь, плескавшаяся в нем, не излилась из его глаз. А потом над головой у него что-то зашевелилось, и на миг в нем блеснула безумная надежда. Он закинул голову, выкручивая шею, и глянул вверх. Целый сонм ангелов сиял на солнце, они были розовые, золотистые, белые; они-то и благоухали, радуясь свету и воздуху. Они несли облако зеленых листьев, а среди листьев было что-то длинное, черное, струящееся. Мысль его воспарила с ангелами, и он вдруг понял, что от корня яблони произрастут новые ветви. Она была близко, за стеной, она распустила зеленое облако, завладела землей и воздухом — источник, чудо, яблоня; и он расплакался, как ребенок, сам не зная, от радости или от печали. А потом, там, где двор его дома спускался к реке и деревья склонялись над самой водой, он увидел, как блеснул и сразу исчез крылатый сапфир, вобравший в себя всю синеву неба.

Он крикнул:

— Вернись!

Но птица умчалась безвозвратно, как спущенная стрела. «Она не вернется никогда, — подумал он, — даже если я просижу тут весь день». Он стал утешать себя мыслью, что птица, может быть, все же вернется и сядет во всей своей красе на ветку совсем близко, но в душе знал, что этого не будет.

— Нет, зимородок не вернется ко мне.

«Пускай, — сказал он себе. — Зато мне посчастливилось его увидеть. Только мне одному». Наконец он встал и боковой дорожкой пошел к площади. Он видел в пыли конец палки и свои едва волочащиеся ноги. «Наверное, я похож на старого ворона, — думал он, когда плелся по дорожке, сгибаясь чуть ли не до земли. — Зачем я иду искать то, чего нет? Но не так-то все просто! У меня много причин, и они перепутались. Отец Адам был прав. На свете есть яблони и птицы, а я поглощен суетой».

Дойдя до Королевских ворот, он присел на каменную приступку и стал рассматривать пыльную дорогу. Но какие бы ноги ни попирали эту пыль, она все равно оставалась просто пылью, и ему стало еще грустней. Он через силу встал и брел, волоча ноги по пыли, пока не увидел у себя под самым носом уличную канаву, в которой играла голенькая девочка.

Он спросил ее:

— Где найти Роджера Каменщика, дитя мое?

«Господи, — подумал он, — кто поверил бы, что у меня может быть такой старческий голос?» Пока он думал это, девочка, разбрызгивая грязь, выбралась из канавы и убежала. Он не знал, как перейти канаву, и зашлепал прямо по воде. А потом он увидел мужские ноги и туловище и спросил:

— Где найти Роджера Каменщика, сын мой?

Сверху кто-то плюнул, и плевок повис на его плаще. Грубый голос сказал:

— На Новой улице.

Ноги ушли.

Он повернул направо, шаркая подошвами и палкой по булыжникам. «Новая улица такая длинная», — подумал он, и при этой мысли силы оставили его. Он поискал взглядом, где бы присесть, но не нашел подходящего камня. Тогда он сел на землю у глиняной стены и прикрылся плащом. Он опустил капюшон на лицо и был теперь как бы в шатре.

Но и под шатром он угадал их присутствие, выглянул и увидел босые детские ноги.

— Где Роджер Каменщик, дети мои?

Ноги ушли, разбрызгивая грязь в канаве. Камень ударил в землю возле него. «Надо идти, — подумал он. — Надо куда-то идти». Он с трудом поплелся вдоль стены и вдруг вспомнил, что Роджер Каменщик, должно быть, сейчас в «Звезде». Он брел, левой рукой опираясь на палку, а правой держась за стену; и наконец он увидел постоянный двор со звездой на вывеске, а у ворот была каменная приступка. Тяжело дыша, он сел и сказал себе: «Не все ли равно, ведь дальше я идти не могу».

— Роджер Каменщик...

Ноги ушли, но вскоре вернулись, теперь их стало много, а он все повторял:

— Роджер Каменщик... Роджер Каменщик...

Наконец появились женские ноги и красный подол платья. Женщина вскрикнула и быстро заговорила, но он, как всегда, легко пропускал ее слова мимо ушей. «Мне жаль ее, — думал он, — жаль, но не очень, чуть-чуть. Это мой изъян, что я не могу скорбеть и о ней тоже».

Чьи-то руки подхватили его под мышки и подняли с камня, а ноги и палка волочились по земле. Он видел, как приближалась дверь, потом увидел ступени, его ноги коснулись их, сперва одна, потом другая, и палка простучала: тук, тук, тук. А потом была еще дверь где-то в полутьме, и она отворилась. Руки опустили его на скамью, захлестнутого дурнотой, и исчезли, затворив дверь. Он зажмурился и ждал, когда исчезнувший мир вернется.

Первыми вернулись звуки. Он услышал хрип, кашель, клочкотание мокроты, сопение, и в этих звуках была своя чередка. Они заставили его открыть глаза; и он увидел напротив окна маленький очаг, а подле очага широкую кровать с валиком в изголовье, на которой белели смятые простыни. Там, приподнявшись на локте, лежал Роджер Каменщик, в одежде, но разутый. Его опухшее лицо непрерывно смеялось, а потом рот разинулся, смех перешел в вопль, и он упал навзничь. Джослин видел, как вздымается его грудь.

Роджер Каменщик, путаясь в простынях, повернулся на бок. Потом снова тяжело приподнялся на локте и поглядел на Джослина, ощерившись по-собачьи. Лицо его было в испарине. Джослин взглянул в налитые кровью глаза, и лицо Роджера исказилось. Он повернул голову и сплюнул мимо очага.

— От вас разит падалью.

Джослин подумал над этими словами, припомнил лица, которые склонялись над его постелью. «Может быть, — подумал он, — очень может быть». И услышал свой старческий голос, который бессмысленно повторял:

— Может быть, Роджер, может быть. Очень может быть.

Роджер Каменщик, опираясь на локоть, подался вперед. Он сказал с бесконечным удовлетворением:

— Стало быть, они и до вас добрались.

Он поперхнулся, и что-то красное потекло по его подбородку.

— Он еще не рухнул, Роджер. Так сказал мне отец Адам. И еще отец Адам сказал, что он все равно когда-нибудь упадет, будь он даже высечен из алмаза и утвержден на самых корнях земли.

Мастер медленно приподнялся. Он с трудом выпутал ноги из простыней и, шатаясь, пошел через комнату. Джослин слышал, как он выругался и ударил кулаком в окно. Раздался треск, звон стекла. Мастер крикнул в мертвую пустоту:

— Рухни хоть сию секунду, и хрен с тобой!

— Сегодня почти нет ветра, Роджер! Только цветы на яблоне колышутся.

Мастер побрел назад. Он тяжело упал на колени у кровати и начал шарить по ней руками. Потом перестал, навалился на нее боком и снова засмеялся.

— Это хорошо, что от вас воняет, Джослин. Мне от этого полегчало. А я-то думал, мне уж ни от чего не полегчает.

Но Джослин был далеко, он грезил и сказал рассеянно:

— Я видел зимородка.

А потом перед ним опять были ноги, красное платье, и язык трещал, трещал, трещал. Роджера Каменщика уложили обратно в постель. Голос раздался над Джослином, потом снова метнулся к кровати:

— Разве ты не понимаешь, дурак ты этакий? Они же знают, что он здесь!

Платье и голос исчезли за дверью. Он посмотрел в сторону кровати, но увидел только, как вздымалась и опадала грудь, и услышал прерывистый хрип.

— Роджер! Роджер! Ты меня слышишь?

Только хрип в ответ.

— Ты подумай. Я считал, что совершаю великое дело, а оказалось, я лишь нес людям погибель и сеял ненависть. Роджер!

Он пристально вглядывался, но видел только вздымающуюся грудь да руку, которая слабо вздрагивала при каждом вздохе. Он отвернулся и стал смотреть на угли в очаге. Теперь они казались ярче, потому что сумерки уже ползли по углам.

— Любить всех людей священной любовью... И вот... Роджер, ты меня слышишь?

Но Роджер даже не пошевелился. Джослин больше не пытался заговорить с ним и ждал, а рука все вздрагивала при каждом вздохе, угли рдели в сумерках, и он созерцал бесформенную, необъяснимую грудую, возникшую у него в голове.

Наконец тело на кровати вздрогнуло. Роджер лежал пластом, уйдя головой в подушку, и равнодушно смотрел на Джослина.

— Так. Вот, стало быть, мы оба тут.

— Это неправда, что старики не знают страданий. Они страдают, как и молодые, только им еще труднее.

— Похвальба!

— И вот, после всей ложной святости я околдован мертвой женщиной.

— Вы сумасшедший. Я всегда это говорил.

— Не знаю. Я был занят только этим исполинским шипом. А ее я совсем не знал. Может, поэтому она и явилась мне во сне и сказала... или нет, не сказала ничего, только мычала пустым ртом? Но даже в этом я не уверен. Элисон говорит, что она меня околдовала. Ведь это правда, Роджер? Как же иначе? А знаете, быть может, Гвоздь настоящий! Нам не дано знать.

Мастер крикнул:

— Будьте вы прокляты! Он рухнет, и я еще доживу до этого дня! Вы отняли у меня мое дело, моих подручных, все отняли, чтоб вам провалиться в самое пекло!

Он судорожно всхлипнул.

— Вместе с вашей сетью. Вы загнали меня слишком высоко.

— Но меня самого загнали. Я тоже попал в сеть.

Он слышал, как Роджер сморкался в простыню.

— Слишком, слишком высоко.

И вдруг голова у Джослина прояснилась. Он отчетливо понял, как быть с этой бесформенной, этой невыразимой грудой.

— Послушай. Вот для чего я пришел.

Он дергал пряжку до тех пор, пока плащ не упал с плеч, потом сдернул скуфью, снял с груди крест и положил на скамью.

— С тонзурой ничего не поделаешь. Знак священной чистоты на теле смердящего пса. Нет, тут ничего не поделаешь. Ересь? Я — средоточие...

Он встал и зашаркал по полу. Потом опустился на колени, но спина не выдержала, и он упал на четвереньки. «Что ж, — подумал он, — придется так».

— Ты сказал тогда, что я сам дьявол. Но я не дьявол. Я просто глупец. И еще мне кажется, я как дом с огромным подвалом, где живут крысы. И на руках моих какое-то проклятье. К кому ни прикоснусь, всем причиняю горе, особенно тем, кого люблю. И теперь я, несчастный, опозоренный, пришел молить тебя о прощении.

Наступила долгая тишина. Гудел огонь, поскрипывали оконные петли, шелестели листья. Он смотрел на доски пола меж своих рук. «Я здесь, — подумал он. — Больше я ничего не могу сделать».

Колено глухо стукнулось об пол подле его правой руки. Его взяли за плечи и выпрямили. Роджер держал его, касаясь руками пламени, которое опаляло ему спину. Мастер ругался, плакал, голова его и все тело тряслись. Он не умел плакать, весь содрогался при каждом рыдании, и дрожь передавалась Джослину; а потом сквозь рыдания стали прорываться слова, и Джослин почувствовал, что сам прижимается к Роджеру, цепляется за него. Голова Роджера лежала у него на плече, и он глупо лепетал что-то про яблоню, утешал и гладил Роджера по широкой дрожащей спине. «Он праведник, — думал он, — истинный праведник, что бы это ни значило! Здесь, под намалеванной, качающейся вывеской, рождается что-то...»

Вдруг Роджер отстранился. Одна его рука еще лежала на плече Джослина, другой он размазывал слезы по лицу.

— Расхныкался, как младенец. А все потому, что я пьян. Чуть выпью, глаза сразу на мокром месте.

Джослин почувствовал, что шатается под его тяжелой рукой.

— Ты не поможешь мне встать, Роджер?

Мастер громко захохотал. Он оттащил Джослина на скамью, потом добрел до кровати и тяжело плюхнулся на ее край. А Джослин все объяснял ему:

— У меня теперь совсем нет спины. Ты мог меня сломать. Иногда мне кажется, это от тяжести каменного молота, но что поделаешь.

— Он там. Стоит. Пейте.

— Нет, нет я не могу. Спасибо.

Кучка дров занялась с краю и вспыхнула желтым пламенем. По комнате заплясали тени. Мастер дотянулся до кувшина и отхлебнул из него.

— Мы сделали что могли.

— Там, на самом верху, ужас. Помрачение.

— Не надо об этом.

— Тяжесть, пустота. Легкость, пустота.

Мастер крикнул:

— Довольно! Довольно же!

Джослин снова взглянул на бесформенную грудку у себя в голове.

— Но это, конечно, еще не все. Когда-нибудь он рухнет. И все же, хотя опоры согнулись, шпиль покосился и щебенка... я еще не знаю. У меня еще остается моя... как бы сказать... мое недоверие. Понимаешь, может быть, все-таки это то самое, для чего мы были предназначены, мы оба. Он сказал, что мне, как глупой девчонке, непременно нужно перед кем-нибудь преклоняться. Но ведь в этом нет ничего дурного, правда? Я отдал шпильку свое тело. Что же его держит, Роджер? Гвоздь? Я? Или она, или ты? Или бедняга Пэнголл, который лежит, скорчившись, под опорами и меж ребер у него проросла веточка омелы?

Роджер Каменщик присмирел, словно слился со стеной, и на нем дрожали отблески огня. Но иные твари витали по комнате, и Джослин чувствовал, как черные крыла трепещут вокруг него. Голос его тонул в этом вихре, и он сам едва слышал себя:

— Ты еще можешь кое-что сделать, Роджер, сын мой. Ты еще можешь кое-что сделать.

Лицо Роджера снова побагровело, налилось кровью, и он прохрипел:

— Значит, вот для чего вы сюда пришли, Джослин? Око за око, зуб за зуб. И если я откажусь... вы все расскажете.

— Нет! Нет! Я и не думал...

— Я все понимаю, отец мой. Я чуял, к чему идет дело.

И тут, среди трепещущих черных крыл, Джослину стало страшно.

— Я совсем не думал...

— Говорю вам, я все понимаю.

— Я сам не знаю, как это у меня вырвалось... против воли.

Роджер Каменщик тяжело плюхнулся на кровать.

— Когда снова придет гроза, я это попомню. Око за око.

— Ты мог уйти. Ты еще молод.

— Кто взял бы меня? Кто пошел бы со мной работать? Ведь вы же отняли все.

— Бог всегда с нами. Это я знал... Но теперь я знаю и другое. А это все равно, что не знать ничего... Что такое человеческий ум, Роджер? Дом вместе с подвалом и всем прочим?

В комнате опять появилась женщина, она блестела черными глазами и трещала без умолку. А когда она ушла, он услышал другие голоса и смех.

— Кто это там?

— Люди.

— Пойми... если она что-нибудь знала... Как тебе объяснить? Беда в том, Роджер, что подвал знал про него — знал, что у него нет силы в чреслах, — и устроил этот брак. Наверное, это из-за ее волос. Я видел эти рыжие волосы, растрепанные, вокруг узкого бледного лица. А потом, конечно, уже не видел. Но однажды, когда она стояла у опоры и смотрела на тебя, они опалили мне глаза. Тогда-то она меня и околдовала. Да, околдовала, ведь правда? Поэтому я должен все про нее узнать. Ведь если она знала... если она знала, что с ее мужем, и даже, может быть, смирилась, это было бы не так ужасно... И конечно, она меня преследует!

— О чем вы толкуете?

— О ней, разумеется, о ней. Я всегда ждал ее. Она прибегала и вдруг останавливалась. Один раз я перевязал ей разбитое колено, оторвал кусок от своей... Но что с того? Позже, когда я понял, как она запуталась в моих сетях, я хотел поговорить с ней, заставить ее понять...

— Вы?

— Говорила она обо мне хоть раз? Впрочем, это все равно. Я и ее принес в жертву. Умышленно. И знаешь, Роджер, молитвы не остаются без ответа. Вот что ужасно! И когда она умерла, я стал одержим ею, потому что она меня околдовала. Молитву затмили волосы. Волосы мертвой женщины. Неплохая шутка, а?

— Шутка!

— Наверное, можно жить так, чтобы всякая любовь была благом, чтобы одна любовь не соперничала с другой, но пополняла ее. Что такое человеческий ум, Роджер?

— Вы достигли того, зачем пришли. Уходите.

— Но я должен знать...

— Не все ли нам теперь равно?

— Я совсем запутался. Пойми, перед тем как она меня околдовала, я любил ее как дочь. А в день ее смерти...

— Не надо. Уйдите.

— Мне быть бы о трех языках, чтобы сказать три вещи разом. Я пришел туда. Ты помнишь? Я ведь только хотел помочь. Быть может, я уже тогда кое-что понимал. Она была на полу. Она подняла голову и увидела меня на пороге в полном облачении настоятеля, священника, обвинителя. А я только хотел помочь, но это ее убило. Я убил ее, все равно что перерезал ей глотку.

Он услышал шаги мастера у самых своих ног. Почувствовал на лице горячее дыхание, насыщенное винными парами.

— Вон отсюда.

— Неужели ты не можешь понять? Я должен знать все это, потому что я убил ее!

Мастер вдруг крикнул:

— Вон! Вон!

Его руки отбросили Джослина. Дверь с треском распахнулась, и эти руки вышвырнули его за порог. Он увидел, как прямо на него стремительно несутся ступени, а потом он привстал на коленях, цепляясь за лестничные перила.

— Пададь вонючая!

Кувшин просвистел у самой его головы и вдребезги разбился о стену. Он на четвереньках дополз до скользкой мостовой, а сзади его настиг крик Роджера:

— Чтоб с тебя кожу содрали заживо!

Но крик потонул в буре голосов, смеха и лая. Он встал, хватаясь за стену, но шум захлестнул его, и в глаза ему ворвались руки, ноги, смутные лица. Он вдруг увидел узкий темный проход, рванулся туда, и одежда лопнула у него на спине. Он слышал, как затрещала ткань. Руки держали его, не давая лечь. Голоса ревели и визжали. Теперь у них были пасти, оскаленные, слюнявые. Он вскрикнул:

— Дети мои! Дети мои!

Вопли и неистовства не унимались, это было целое море проклятий и ненависти. Руки сжались в кулаки, замелькали ноги. И ему показалось, что сквозь весь этот шум он слышит, как Айво и его приятели науськивают псов:

— Ату! Ату! Ату!

Он лежал ничком и видел ноги и полосу света, которая падала из двери

на грязь в канаве.

А потом вокруг разлилась тишина. Ноги постепенно отдалились. И в тишине он услышал женский голос:

— Матерь божия! Да вы поглядите на его спину!

Ноги задвигались быстрее. Он уже не видел их, но слышал, как они идут, бегут, спотыкаются о булыжники. Освещенная дверь захлопнулась.

Он лежал немного, дрожа всем телом. Потом зашевелился, пополз к стене. «Я наг, — подумал он. — Так и должно было случиться». Он встал и поплелся на тусклый свет факелов, маячивший над Главной улицей. Порой он терял стену, оступался, попадал в канаву и выбирался оттуда, а один раз упал прямо в грязь. «Теперь все могут видеть, что я такое», — подумал он, выбираясь обратно на мостовую. На углу Главной улицы он упал и уже не мог встать. Он не чувствовал, как ему прикрыли спину, не видел подола Рэчел и сандалий отца Адама. Какие-то руки осторожно коснулись его. Какой-то голос зажурчал, как вода в канаве зимой. А потом нахлынула тьма.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

И снова над ним был ребристый потолок. Он ничуть не изменился, но сам Джослин как бы вступил в новое существование. У него было такое чувство, будто он висит над собственным телом, которое каждый миг захлестывала неотвратимая волна слабости, принося с собой бессмысленный страх. И всякий раз он проваливался в пустоту. Но вот сознание возвращалось, и он снова повисал над своим телом, пытаясь, как в тумане, понять, что с ним произошло. Он висел и безмолвно разговаривал сам с собою.

— *Где же я был?*

И безмолвный ответ был всегда один:

— *Нигде.*

Его поили чем-то горьким, быть может маковым отваром, и ему иногда казалось, что от этого он и может вот так плыть и парить над своим распростертым телом. Лица чередовались: то кто-то подавал ему питье, то появлялся отец Адам, чьи черты он теперь видел совершенно отчетливо. Он не знал, долго ли длились провалы и долго ли он висел и плыл над своим телом. Но от одного взгляда до другого он без удивления замечал, что солнечный свет или тени отмерили на ребрах потолка не один час. Иногда он ближе ощущал эту оболочку, этот механизм, лежавший под ним. Главным делом механизма было растягивать и сжимать ребра, медленно, но беспрестанно, а внутри, как птица в клетке, трепыхалось сердце. Он бывал вынужден спускаться в свое тело лишь тогда, когда на него налагали руки прислужники, исполняя необходимые обязанности. Один раз он ясно услышал разговор, но понял лишь последние слова:

— Это губительный недуг у него в хребте...

Молчание. А потом еще:

— Нет. Ничего подобного. Сердце.

Но чаще всего в странном, зыбком времени он парил над своим телом или проваливался в пустоту. Приходили мысли, которые длились вечность или секунду. Возникали картины, которые теперь оставляли его равнодушным. Он почти не разговаривал, потому что это было невероятно трудно, даже когда он обретал доступ к собственному рту. Он избегал этого, потому что боялся своего распростертого тела, как западни, боялся пустоты, которая так часто подстерегала его. И все же иногда, в промежутках между вечностями, когда он то погружался в туман, то ясно

видел над собой потолок, он делал долгое усилие. Он заставлял себя спуститься к окаменевшему рту, взламывал камень и выдыхал со струей воздуха:

— Рухнул?

Лицо отца Адама, совсем отчетливое, с улыбкой низко склонялось над ним:

— Нет еще.

Он рассматривал голубые глаза, улыбку, которая слегка растягивала губы и морщила щеки. А когда лицо отодвигалось, он снова видел каменное ребро потолка да иногда — муху, сидевшую там вверх ногами и занятую своими заботами.

Потом он начал думать о своем надгробии и кое-как объяснил, чтобы позвали немного. Преодолевая бесконечную череду времени и пустоты, он растолковал юноше, чего хочет: никаких украшений, только он сам, мертвый, нагой, лишенный даже плоти, распростертый скелет, обтянутый кожей, голова запрокинута, рот открыт. Он хотел сдернуть простыни, и руки наконец поняли. Они открыли перед юношей его наготу, и тот сделал набросок с гримасой отвращения, а Джослин снова воспарил над своим телом. Минула вечность, юноша исчез, муха чистила лапки на потолке.

А потом свечи, бормотание, прикосновение еля. Он парил над миропомазаньем, которое свершалось внизу, над тяжелым, как свинец, телом; и снова разверзлась пустота. Но когда он очнулся, явилось нечто новое. Он слышал, как шумит ветер и дождь стучится в окно. И тогда он вспомнил про подвал с крысами и в ужасе перед этой мыслью ринулся вниз, в свое задыхающееся тело.

— Каменщик. Роджер Каменщик.

Лица низко склонились над ним, удивленные, с поднятыми бровями, они говорили длинно и непонятно.

— Роджер Каменщик!

И сразу он задохнулся словами и мыслями. Грудь отказывалась подниматься, и он в страхе пытался ей помочь. Он почувствовал, как руки приподняли и посадили его.

А потом он снова лежал, глядя на каменное ребро потолка, по которому медленно ползли яркие полосы света.

— Где же я был?

Но тут чье-то лицо заслонило свет, склонилось над ним, дрожащее, с красными веками, и ее черные волосы зазмеились по его телу, а рот зиял, непрестанно открываясь и закрываясь. Она накинута так неистово, что он мог лишь смотреть безучастно, не в силах уследить за смыслом ее слов.

— В сарае, между кучей лука и мешком пшеницы...

Неужели когда-нибудь ей придется расстаться с жизнью, которой в ней такая бездна? Всепожирающий рот, праведница...

— ...на четвереньках. С петель на шее, и обломок стропила на другом конце веревки. Он всегда говорил, что в его деле самое трудное рассчитать прочность, но бог знает...

«Бог, — подумал Джослин, и все показалось ему ничтожным. — Бог? Если бы я мог вернуть прошлое, я стал бы искать Бога среди людей. Но теперь колдовство сокрыло Его».

— Сидит у огня, голову свесил на плечо, ничего не видит и не слышит, я все должна делать для него, все! Понимаете? Ходить, как за малым ребенком!

Он равнодушно смотрел, как руки отца Адама увели ее, услышал, как ее пронзительный плач всплеснулся рядом, а потом затих на лестнице. И он каким-то образом увидел отрешенное лицо Роджера Каменщика, детей на траве, скорченного Пэнголла, охраняющего средокрестие. Он увидел неуклюжие перекрытия башни, громоздкие, расщепленные венцы. И тяжесть навалилась на него.

«Я не могу больше, — подумал он. — Не могу. Я не в силах даже пожалеть их. И себя тоже».

В комнате слышалось бормотание, звяканье металла. Лицо отца Адама снова низко склонилось над ним. Он видел, как губы священника произнесли какое-то слово, но, обессиленный, не пытался его уловить.

Голубые глаза мигнули. Вокруг них появились морщинки. Губы снова пошевелились. И на этот раз его одурманенный маковым отваром слух поймал слово, прежде чем оно взлетело к потолку.

— Джослин!

И он понял, что его час пробил: и ему показалось, что умирать легко — так же как есть, пить, спать, всему свое время.

И, поняв это, он словно обрел свободу, и мысли его понеслись вскачь, как лошадь, с которой сняли узду. Он поднял глаза, чтобы узнать, принес ли ему этот последний час избавление от колдовства: но там, среди звезд, сверкали спутанные волосы, и к ним возносилась громада шпиля. «Вот и все, — подумал он, — вот и объяснение, но только теперь уже поздно». И он шепнул отцу Адаму одно слово:

— Вероника.

Улыбка на лице стала растерянной и тревожной. Потом оно прояснилось.

— Святая?

И тело, измученное слабостью и борениями, попыталось выдавить из груди смех; но он тотчас унял этот смех, боясь выпасть из жизни, потерять равновесие, как канатоходец; он вдруг почувствовал любовь к отцу Адаму, захотел что-нибудь ему подарить и, когда обрел равновесие, шепнул еще одно слово:

— Святая.

А смерть не так нелепа, как жизнь, потому что нет ничего нелепей этого раздираемого ужасом комка, который, как язычок гаснущего огня, трепещет под ребрами.

— Джослин.

«Это он меня зовет», — подумал Джослин и посмотрел на отца Адама со спокойным любопытством, потому что отец Адам тоже умирал и завтра или в какой-нибудь другой день чей-то голос вот так же скажет ему: «Адам», — будто ребенку. Как бы высоко он ни вознесся, какое бы ни носил облачение, завтра или в другой день этого гладкого, как пергамент, лба трижды коснется серебряный молоточек. А потом мысли снова понеслись вскачь, и он увидел, какой странный человек этот отец Адам, с головы до ног обтянутый пергаментом, то гладким, то морщинистым, и сверху так смешно торчат волосы, а внутри — чудовищный костяк, на котором распят пергамент. И тут же, словно во сне, который скрыл от него это лицо, он увидел весь род людской в его наготы — коричневатый пергамент, натянутый на костяные остовы и скелеты. Он увидел, как люди, прикрытые тканью, переступают ногами, вышагивают подошвами из звериных кож, и мучительным усилием, задыхаясь, попытался облечь это свое видение в слова, которые не прозвучали никогда:

«В своей гордыне они возмечтали об адском пламени. Ничто не совершается без греха. Лишь Богу ведомо, где Бог».

Руки уложили его, и он провалился в пустоту. Но страх заставил его снова вынырнуть и испить чашу до дна.

— Теперь, Джослин, мы облегчим тебе путь на небо.

«Небо, — подумал Джослин, охваченный страхом. — Ты, который сейчас держишь меня и умрешь не сегодня, что знаешь ты о небе? Небо, ад, чистилище — крошечные и блестящие, как украшение, которое прячут и носят лишь по праздникам. А я умираю в серый, будничный день. И что мне небо, если мне невозможно подняться туда вместе с ними, держа за руку его и ее?

Смириться?

Я променял четверых людей на каменный молот».

Вдруг он почувствовал, что надо вцепиться в воздух зубами, мертвой

хваткой. Руки приподняли его, посадили, и грудь сама, без его помощи, набрала воздуху. И страх покинул грудь, но витал вокруг.

Сквозь страх на него глядели два глаза. Кроме них, в мире не было ничего прочного, и под их взглядом он был как дом, готовый рухнуть. Они смотрели на него в упор, око в око, око за око. Он снова вцепился зубами в воздух и сам погрузился глазами в эти глаза, потому что, кроме них, в мире не было ничего прочного. Два глаза слились в один.

И теперь перед ним было окно, распахнутое, залитое светом. Что-то рассекало его. Какая-то черта, а вокруг была синева неба. Недвижная и неслышная, эта черта с безмолвным криком возносилась ввысь, куда-то в самое небо. Она была тонкая, девически нежная и прозрачная. Ее взрастило семя, неведомое розовое вещество, искрившееся, как водопад, но водопад, устремленный снизу вверх. И лишь одно это вещество врывалось в самую беспредельность ликующими каскадами, которые ничто не могло удержать.

Страх кружил и рвался наружу, он вдребезги разбил окно, и осколки задрожали в каждом его глазу, но ни страх, ни слепота не могли затмить ужаса и удивления.

«Теперь... я ничего, ничего не знаю».

Но руки заставляли лечь вихрь ужаса и удивления, лечь, лечь. Мысли ослепительно вспыхивали во тьме. Самые камни вопиют.

«Верую, Джослин, верую!»

Что такое страх и радость, почему они смешались, слились воедино и сверкают, мчатся сквозь потрясенную ужасом тьму, как птица над водой?

— С кротостью приемлешь...

Захлестнутый волной, он летел птицей, рвался, кричал, вопил, стремясь оставить после себя волшебные и таинственные слова:

— Как яблоня!..

Отец Адам склонился над кроватью, но не услышал ничего. Он видел только, как дрогнули губы, и истолковал это как моление: «Господи! Господи! Господи!» И по милосердию, которое было ему дано творить, он положил на язык усопшего святыне дары.

Примечания

* Неф — продолговатая часть здания в романских храмах эпохи возрождения, простирающаяся от входных дверей до хоров и покрытая сводом; формой напоминает опрокинутый корабль. *(Здесь и далее звездочкой помечены примечания верстальщика)*

* Транsept — поперечный неф или несколько нефов, пересекающих под прямым углом основные (продольные) нефы в крестообразных по плану зданиях.

* Хоры — открытая галерея или балкон в верхней части парадного зала или церковного здания (первоначально для помещения хора, музыкантов).

* Капелла — католическая или англиканская часовня; небольшое отдельное сооружение или помещение в храме (в боковом нефе, в обходе хора) для молитв одной семьи, хранения реликвий и т.д.

* Средокрестие в средневековых (преимущественно романских и готических) христианских храмах пространство, образованное пересечением продольных нефов с поперечным трансептом.

* В некоторых средневековых комментариях к Библии упоминается о том, что огонь и дым от жертвенника Авеля столбом высоко поднимались в небо.

* Трифорий — в романской и готической архитектуре узкие продольные галереи над боковыми нефами, открытые в центральный неф тройными или двойными арочными проемами.

dia mater — Матерь богов (лат.)

Из детской песенки «Гвоздь и подкова». Перевод С.Маршака.